

ЛИТЕРАТУРА

ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ



1989/7

В.Д. Оскоцкий
ПОРТРЕТ
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ



ЗНАНИЕ

НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ

НОВОЕ В ЖИЗНИ, НАУКЕ, ТЕХНИКЕ

ПОДПИСНАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

ЛИТЕРАТУРА

7/1989

Издаётся ежемесячно с 1967 г.

В. Д. Оскоцкий

ПОРТРЕТ
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ

(ЧЕТЫРЕ ОЧЕРКА)



Издательство «Знание» Москва 1989

ББК 83.3(2)7
О-75

ОСКОЦКИЙ В. Д. — критик, член редколлегии журнала «Знамя», кандидат филологических наук.

Редактор *Н. М. КРАСНОПОЛЬСКАЯ*

С О Д Е Р Ж А Н И Е

От автора: вместо предисловия	3
Необходимость диалога (О романе Чингиза Айтматова «Плаха»)	4
Самостоянье (О повести Даниила Гранина «Зубр» и вокруг нее)	20
О чем «не пели наши оды» (Повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая»)	39
«Борьба и победа» (Об автобиографической повести Анатолия Жигулина «Черные камни»)	49
От автора: вместо заключения	63

Оскоцкий В. Д.

D-75 Портрет современной прозы: (Четыре очерка).— М.: Знание, 1989. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Литература»; № 7).

ISBN 5-07-000626-6

15 к.

Автор рассказывает о четырех произведениях советской прозы последнего времени — о «Плахе» Ч. Айтматова, «Зубре» Д. Гранина, о повестях А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» и А. Жигулина «Черные камни». Каждое из этих произведений вписало яркую страницу в современную прозу.

4603010000

ББК 83.3(2)7

ISBN 5-07-000626-6

 Издательство «Знание», 1989 г.

ОТ АВТОРА: ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Писать литературно-критические обзоры лучше всего во времена спокойные, уравновешенные, размеренные. Или, говоря образно, равнинные. В том смысле, что гладкая плоскость равнины всегда виднее обозревающему взгляду, открыта ему как на ладони. Иное дело «пересеченная местность», то исчезающая в буераках, то заслоняемая холмами. Разглядеть ее всю сразу, целиком мешают взгорья, встающие на пути. Из-за них приходится не вышагивать валких шагом по проторенным колеям ровных дорог, а, сдерживая учащенное дыхание, взбираться вверх по склонам, зачастую крутым и обрывистым, чтобы взойти на высоту, откуда сувщийся было простор вновь распахнется во всю ширь.

Разумеется, не каждому подъем по сердцу. И потому дай ihmому волю и власть — тут же сроет все, что возвышается «над уровнем моря». А что касается взгорьев ihmосказательных, в нашем случае литературных, то о них и толковать не пристало: запретить, дабы не мешали. Не застили свет, не заслоняли умиротворенный вид на равнину. Вет и вся с ним недолгаг...

Но чем переменчивей и беспокойней, напряженнее и взрывнее время, тем все-таки больше в литературе взгорьев, которым малы и тесны канонические масштабы все и всех уравнивающего обзора. Жанр портретный, не признающий привычных «общих знаменателей», куда предпочтительней.

Автор брошюры, предлагаемой читательскому вниманию, не обозревает литературную «продукцию» последних двух-трех лет, а, выделяя в ней — в пределах отпущеного издательством объема — лишь некоторые произведения, наиболее приметные, вершинные, ведет речь об их темах и сюжетах,

идеях и образах как о характерных или, если прибегать к научной терминологии, типологических чертах текущего литературного процесса, в совокупности своей складывающих укрупненный портрет современной прозы.

НЕОБХОДИМОСТЬ ДИАЛОГА (О романе Чингиза Айтматова «Плаха»)

Как бы по-разному ни относиться к «некруглому столу» «Литературной газеты», обсудившему «Плаху» под вопросом-девизом «Парадоксы романа или парадоксы восприятия?», одна мысль, прозвучавшая там, бесспорна, паверное, для всех. Полифоничный по своей образной природе, философской концепции роман требует не монологических рассуждений о его достоинствах или недостатках, а диалогичного сопряжения разных взглядов, дискуссионного столкновения разных точек зрения. (См. ЛГ, 1986, 15 октября).

Разумеется, диалог диалогу рознь. Случаются и такие диалоги, о которых пристало сказать, повторив искрометную шутку Герцена: и охота тебе было биться с «человеком, не догадавшимся с первого слова, что он дурак». Так — помните? — отозвался он о статье Белинского «Русская литература в 1841 году», написанной в форме диалога, где авторская позиция была целиком передана первому собеседнику, а все возражения — недалекому оппоненту.

Не о чем, право, «биться» и пам с остеопенепным докторским дипломом оратором, заявившим на читательской конференции по «Плахе» в одном из негуманистарных московских институтов, где он заведует кафедрой философии: «Своим романом Чингиз Айтматов ложит на плаху социализм» (случай доподлинный). Верно поступим мы, если по-просту оставим за пределами нашего внимания и многое из того, что наговорено вокруг «Плахи» в статье философ-атеиста И. Крывелева, напечатанной «Комсомольской правдой» (1986, 30 июля). Что в самом деле ответить на курьезный укор; не существует-де в Московской патриархии должности координатора по учебным заведениям, однако таковой «фигурирует в романе»? Не станешь же всерьез разъяснять на уровне ликбеза, что и планету Лесная Грудь из предыдущего романа писателя «И дольше века длится день...» не

обнаружила ни одна астрономическая обсерватория мира, хотя как художественная реальность она заняла свое место в звездном небе над «великими пустынными пространствами — Сары-Озеками, Серединными землями желтых степей».

Но были в пашумевшей статье «Кокетничая с божепькой» и мотивы, которые нельзя оставить неоспоримыми. «Еще бы: не убивай, не кради, не прелюбодействуй... Что еще нужно, чтобы процветала всеобщая правственность, как не всеобщее исполнение этих заповедей?» Даже в полемических целях недостойно иронизировать так над «не убий», зная, что пыне древняя заповедь осторегает от убиения уже не человека, а всего человечества. Что же до «не укради», то исослабость этого завета куда как наглядно подтверждают многочисленные судебные очерки о проворовавшихся деятелях разного масштаба и калибра — не кустарях-одиночках, а объединенных в мафиозные кланы, разукравших целые районы, области, даже некоторые республики. Дивная, согласимся, коллизия: «устаревшую» заповедь нас призывают списать как раз в то время, когда честное, совестливое отношение к труду, а стало быть и к государственной собственности, народному достоянию, неукоснительное соблюдение охапляющих их законов стали одним из решающих факторов, которые укрепляют правственную атмосферу, духовный климат перестройки.

«Л как же насчет любви к ближнему, непротивления злу, воздаяния добром за зло? — продолжает «богоборческую» иронию И. Крывелев. — Реальная жизнь в течение тысячелетий шла мимо всей этой словесности». Действительно мимо. Но на что это указывает, если не на драматические противоречия, туниковые кризисы исторического прогресса? И как знать, не в том ли и состоит конкретно-историческое своеобразие нынешнего исхода нашего ХХ века, что он знаменует время, призванное наконец соединить отрицающую «словесность» с движением мировой истории, утолить человеческую жажду прочности идеальных начал жизни, неизблемости гуманистических основ бытия? Легкомысленно третируя общечеловеческие нормы правственности как пустую, ничего не значащую говорильню, легко отвергнуть и клятву Гиппократа на том единственном основании, что она родилась в рабовладельческом обществе. А между тем сколь-

ко уже веков продолжает она служить во благо людям, пичуть не противореча современной врачебной этике...

Не так ли и евангельские заповеди, если соотносить их с общечеловеческой моралью? Тем, видимо, и отличен особенный, переживаемый нами исторический момент, что последние десятилетия XX века с небывалой доселе остротой выдвинули вопрос, который с такой неотвратимостью не вставал прежде перед общественным сознанием эпохи: какие истины можем мы и должны нести современному миру, чтобы противостоять, как мыслит об этом Авдий Каллистров, реальной «угрозе небытия», «повернуть... судьбы к свету». Ясно, что не релятивистское отношение к первоосновам морали и нравственности, общегуманистическим ценностям человеческой цивилизации станет нам точкой опоры.

В беседе с деятелями мировой культуры, участниками созданного Чингизом Айтматовым Иссык-Кульского форума М. С. Горбачев привел ленинскую «мысль колоссальной глубины — о приоритетности интересов общественного развития, общечеловеческих ценностей над интересами того или иного класса. Сегодня, в ракетно-ядерный век, значимость этой мысли ощущается особенно остро».

Ассоциативная перекличка, подтекстовое созвучие этому тезису идей и образов романа «Плаха» не вызывают сомнений. Ничего удивительного: современная художественная мысль, как и мысль общественная, ищет себе опору не в релятивистской морали с прагматизмом ее зыбких критериев, сиюминутностью, одномоментностью утилитарных требований, а в ориентации на общечеловеческие нравственные, вечные духовные ценности. Они — гаше спасение и защита. Не будем поэтому по издавна укоренившейся привычке вкладывать неизменно бранный смысл в такие, скажем, понятия, как пацифизм, абстрактный гуманизм, всечеловечность. Кто не с нами, тот против нас? По-иному рассудила, откорректировала, повернула история: кто не против нас, тот с нами. Каждый с нами, кто, как и мы, за жизнь на планете. Человечеству мало радости от того, если оно погибнет даже в спранедливой войне...

Таков первый урок раздумий о новом романе Чингиза Айтматова, извлекаемый в идеологическом плане, мировоззренческом ключе. Но столь же важен и второй урок сугубо методологического свойства. Он состоит в том, что споры о

«Плахе» убедительно зиявили очевидную недостаточность критики внутримедийной, замкнуто эстетической, описательной, рецептурной, раньше и прежде всего оценочной, подменяющей многозначное истолкование произведения однолинейным прочтением, развернутый анализ — вычислительным балансом писательских удач и издержек. Став мысленно на ее «литературоцентристские» позиции, можно добавить многое к тому, что сказано о недостатках «Плахи».

«Ты спустилась с небес, как богиня в современном обличии»... Сoverшив над собой насилие, можно принудить себя быть синхордитальным к дурным образцам эпистолярной стилистики Авдия Каллистратова. Но уже не он пишет в письме любимой, а сам писатель в третьей части романа, единодушно признаваемой лучшей — сюжетно цельной, художественно завершенной: «...Кочкорбаев был далеко не единственным звеном в цепочке, руководствующейся пачетническими принципами». Не на кого и не на что списывать подобные канцеляризмы стертый лексики, невыразительной стилистики. Да и объект столь плоскостного изображения глазами автора: не слишком ли плакатно представлен он? Пoэтика притчи, в русле которой выдержаны многие сцены романа, допускает и предполагает плакатность, но не освобождает от плотности письма, не оправдывает безликость героя, бестелесность его образа. Грузинская легенда, «в какие-то секунды» запово пережитая Авдием Каллистратовым под аккомпанемент староболгарских церковных песнопений, ча «воле нахлынувшего потрясения», — тоже притча. Но насыщают ее не бесплотные тени, а колоритные, резко очерченные, словно из цельного камня вытесанные фигуры людей, в которых личностное и типическое, индивидуальное и обобщенное слились воедино. Тем крупнее, масштабнее ключевая мысль, движущая притчевый рассказ о трагизме кровопролитий, оставляющих «страшные борозды на пашне» пародной истории. Не плоское резюме, а многомерный итог об разного решения социально конфликтной, психологически напряженной ситуации, хотя бы и условной.

Продолжая реестр недостатков, справедливо будет солаться на кульминационный диалог Авдия и главаря анашистской мафии Гришана. Он явно задумывался как мировоззренческий спор, философский диспут, психологический поединок. Но столкновение досадно ослаблено лозунговостью

взаимных речений, то и дело сбивающихся на риторику газетных штампов.

Иной несколько случай — иерусалимская глава. К селексике и стилистике также немало претензий, в большинстве своем справедливых. Хотя предъявляя их, важно учесть, что предыстория распятия Иисуса Назарянина подана писателем так, как ее представляет себе, как создает в собственном воображении Авдий Каллистратов. Верно заметил критик Е. Сурков: «Глазами обычного — бытового — человека, а не поэта и не философа, увиден в романе и легенда о встрече Христа с Понтием Пилатом. Об этой сцене было сказано, что она написана «вслед Булгакову». И не выдерживает сравнения с первоисточником. Только разве встреча с Пилатом впрямь написана «вслед Булгакову»? А не по логике развития собственной творческой мысли Айтматова? И разве, с другой стороны, для того, чтобы вернуться к этой встрече, был необходим именно роман «Мастер и Маргарита»? А не Евангелие? Не сама легенда, на которую — на интерпретацию которой — все ведь имеют равные права? Автора «Плахи», думаю, волновал даже не столько сам миф, сколько особенности его современного, осуществляемого на обычном бытовом уровне восприятия. Евангельский сюжет увиден в романе ведь не историком культуры и не поэтом, а всего-навсего недоучившимся семинаристом. Вносящим в свое восприятие мифа, бесконечно ему дорогое, и свое косноязычие. И свои — в повседневных бытовых отношениях кореяющиеся — представления. Свои языковые штампы и просторечия».

Отделяя далее действительные издерожки, приведенный счет которым можно бы и продолжить, от мнимых, приписанных и навязанных роману, не стоило бы так уж категорично вменять писателю в вину то, что было для него художественной задачей, осознанным намерением, вытекающим из философской концепции повествования. Такова, скажем, сюжетная нестыкованность первых двух и третьей частей, фабульная несоединенность их как якобы вполне самостоятельных повестей об Авдии Каллистратове и Бостоне Уркунчеве. Если сюжет попытать исключительно как фабулу, то перекинутый между частями, от Авдия к Бостону, мостик — история волков Акбары и Ташчайнара — может показаться рискованно зыбким. Но ведь сюжет — не только и не про-

сто видимая событийная, но чаще и больше скрытая подтекстовая связь, сцепляющая текст направляющим движением авторской мысли. В нашем случае — мысли о всеобщей взаимосвязанности судеб людей, живущих в разъединении, расколотом, но в одном мире, на одной земле. Мысль эта не давала в свое время покоя Юрию Трифонову. Как ни тонка «нить... любви, смерти, надежд, разочарований, отчаяния и счастья краткого, как порыв ветра», она незримо соединяет человека с человеком, а через них и разные точки на земном шаре — города, страны, континенты. «Потому что все сплетено искусно» в нашем мире, «и если потяпуть нитку в устье, она непременно обнаружится и затрепещет в истоке». Не волки лишь соединяют у Чингиза Айтматова и Авдия с Бостоном. Соединяют и пеистребимый в каждом порыв к идеалу, и обреченность каждого на трагедию.

Видите, как трудно бывает иногда, довольствуясь сугубо оценочными задачами рецептурной критики, лишённой выхода к самостоятельным интерпретациям произведения, жестко разграничить удачи и неудачи? Они словно меняются местами, как бы прорастают друг в друга. И это требует не констатаций, а объяснений.

Но примечательно: и «оценщики», и «интерпретаторы» — все сошлись на признании незаурядного изобразительного мастерства, с каким выписаны в романе картины истребления сайгачных стад. Вовсе не легко и не просто припомнить сходу аналогичные в современной прозе картины варварского надругательства, кощунственного глумления над природой, которые потрясали бы так же мощно, оставляли такое же до озиона цеизгладимое впечатление. А словцо «мясосдача», для пополнения которой «в конце последнего квартала определяющего года» и осуществлено чудовищное насилие, кровавое побоище, прокатившееся по Мюнхумской саванне как «сплошная черная река дикого ужаса!.. Легко представить, как, зацепившись за него, иной турист и тут углядит повод для укора писателю в безразборном злоупотреблении газетной лексикой. Но разве не органично легло это и впрямь вызывающее газетное слово в образный контекст повествования? В нем одном вся сущность потребительского сознания, вся жизненная философия, логика поведения, мораль временщиков областного и более высокого уровня.

Если искать параллелей, то как не сослаться на Андрея Платонова. Но с существенной оговоркой. Преобразовательский раж героев «Ювенильного моря», перекраивавших природу по своему хотению, предостерегал от дилетантизма, который коренился в полуобразованности, полузнании, полукультуре. Разбой, вандализм, учивенные в Моюнкумах, как и последующее «светопреставление в приалдашских зарослях», — результат не неразумия, а преднамеренного преступления, на которое осознанно идут не полуграмотные дилетанты, наивно возмечтавшие облагодетельствовать человечество, а вполне цивилизованные калифы на час, чья козырная ставка на одномоментную пользу, сиюминутную выгоду выдает деляческий цинизм и мертвую хватку хищников. Что им вечность, если миг позволяет урвать больше? И что душа, когда не о ней печаль, а о престижной карьере? Изречено же до них: гори все синим пламенем.

И занимается, разгорается пламя «на многих сотнях и тысячах гектаров вокруг озера Алдаш»: древние камыши мешают подъездным путям к открытой горнорудной разработке редкого сырья. «Пожару дали старт посреди ночи. Обработанные воспламеняющимся веществом, камыши всыхивали как порох, во много раз сильнее и мощнее, чем густой лес. Пламя выбрасывалось до небес, и дым застилал степь так, как туман застилает землю в зимнюю пору». Не до заповедных камышей гигантскому «почтовому ящику» в степи, не до озера, «пусть и уникального». Гибель камышовых джунглей, как и самого озера, «никого не остановит, если речь идет о дефицитном сырье. Ради этого можно выпотрошить земной шар, как тыкву».

Земной шар, выпотрошенный, как тыква, — точный и емкий образ, ассоциирующийся со многими суровыми реальностями современного мира. Реальностью Байкала, который продолжают убивать отходы целлюлозно-бумажного производства, в довершение всего оказавшегося «экономически крайне невыгодным»: как свидетельствует академик А. Аганбегян, предприятие, возведенное вопреки обоснованным протестам общественности, «по многим показателям хуже, чем могло бы быть в другом месте. А его можно было построить где угодно, потому что оно не нуждается в чистейшей воде Байкала. К тому же и доставка древесины туда затруднена». Реальностью высыхающих Сырдарьи и Амударьи, погиба-

ющего Арала, вокруг которого на каждый орошенный гектар приходится несколько осолопсных, превращенных в солончаки. Реальностью загрязненной Ладоги, к спасению которой не устают призывать ученые и публицисты, и в конец отравленного Рижского взморья, где и купаться-то стало уже невозможно без риска для здоровья. Реальностью северных и сибирских рек, едва не повернутых всipyть по шумно разрекламированному «проекту века», печальные уроки которого извлек и обобщил Сергей Залыгин в знаменитой статье «Поворот». Реальностью Волги и Дона, Днепра и Днестра, которые, если прибегнуть к традиционному образу русских сказок, грозят превратиться в резервуары «мертвой воды». Надо ли продолжать? Кажется, и не осталось уже в стране места, не помеченного знаком экологического бедствия.

Если выпотрошенный, как тыква, земной шар — образ, ассоциативно связанный с создавшейся экологической ситуацией и вытекающим из нее множеством экономических, народнохозяйственных проблем, то потрясающая своим трагизмом предфинальная картина романа — гибель маленького Кенджеша, унесенного волчицей Акбарой, — воспринимается символическим обобщением той же проблематики, поданной в метафорическом, аллегорическом ключе. Природа мстит человеку за нарушенное равновесие, утраченную гармонию, и суд ее над людьми страшен, жесток, беспощаден.

Какому человеку, какими людьми? — задают вопрос. Прежде чем ответить, обратимся к персонажу, который, будучи заслонен другими, почти не привлек внимания критики, хотя в художественной структуре романа он одна из ключевых фигур. И зловеще не меньше, чем Гришан.

«Думаешь, Сталина нет, так управы на тебя не найдется?» — угрожает Обер-Кандалов. В услужливой готовности перевешать «всех, кто против нас, и одной вереницей весь земной шар, как обручем» обхватить, чтобы «никто ни единому нашему слову не сопротивлялся, и все ходили бы по струнке», заключен готовый ответ на недоумение: чем помешал ему Авдий Каллистратов. Тем и помешал, что праведник, и его праведничество по законам тканевой человеческости отторгается психологией безнаказанного насилия, наступательной моралью вседозволенности, которые проросли из реальных исторических корней и развились, упрочились

на конкретной социальной почве. Так пятачивается еще одна тугая нить, плотно стыкающая части романа, которые лишь на первый взгляд могут показаться сюжетно разрозненными. Психология и мораль Обера-Капдалова гулко отзываются, распускаются пышным цветом в Базарбае Нойгутове, который мыслит не иначе как в категориях того самого времени, когда вынешний вожак «хунты», упиваясь могуществом отпущеной ему власти, ходил в сильных мира сего.

Тайная и явная постальгия по временам минувшим возникает у иных героев Чингиза Айтматова не впервые. Еще ничтожество Орозкул из «Белого парохода» вздыхал, тосковал по «времечку», когда «головы летели — и никто ни звука». Что побуждает писателя воскрешать прошлое так пастойчиво, вводить его в сюжет если не прямым действием, как это было в повести «Прощай, Гульсары!», романе «И дальше века длится день...», то хотя бы ретроспективным воспоминанием? Тому немало причин.

Не с литературы, а вернее, меньше всего с нее спрос за то, что трагедийная правда народной истории осталась недовыговоренной. Но литература не была бы самой собой, если бы панорама всему не стремилась высказать ее до конца, дав выход неутоленной потребности памяти. Иначе не поплыть социальный генезис, духовные предыстоки того кризисного певерия в идеалы, которым поражено сознание современников, чаще и больше всего — молодежи. Обер-Капдалов, обрекающий Авдия Каллистратова на жертвенную гибель, воплощает и объясняет эту историческую реальность. Наивно полагать, будто психологическое наследие не столь уж давних десятилетий и генетически связанные с ними мораль вседозволенности ушли в прошлое, перечеркнутое постановлением ЦК КПСС 1956 года «О преодолении культа личности и его последствий». Есть от чего пребывать «в смертельной тоске, когда над зеркальцем в грузовике колымский шофер девятнадцати лет хвастливо повесил известный портрет», но этот случай, «с натуры» воспроизведенный в поэме Евгения Евтушенко «Фуку!», хоть и тревожная, но не самая опасная беда. Куда опасней, что и по сей день не перевелись еще мастера «агитационно-массовой работы», охочие, подобно парторгу Кочкорбаеву, напоминать «молодежи про Павлика Морозова и его киргизского собрата Кычана Джакыпова», учить и воспитывать на их примере. Бель-

мом на глазу стал бы им памятник жертвам культа личности, будь он своевременно сооружен согласно рекомендациям XXII съезда партии. Но до памятника ли было в застойную пору «зрелого», «развитого социализма», когда словно в утешение Кочкорбаевым и одобрение Обер-Кандаловым в газетных статьях, посвященных памяти большевиков ленинской гвардии, даже даты смерти опускались стыдливо, если приходились на 1937—1938 годы?..

Стоп! — как въяве одергивают автора противники подобных проекций «литературы» на «жизнь»: обещал о художественных ценностях искусства, а все свел к самой что ни на есть «злобе дня». Но назовите такие «вечные» ценности, которые создавались бы искусством в пекоем вакууме безвремепья, поверх и в обход актуальных проблем эпохи, а не в их гуще, не в их сердцевине. Не существует таковых на свете. Вот почему крайне рискованным, опрометчивым представляется категоричное заявление В. Кожинова: в наши дни «Плаха» может сыграть «важную и в конечном счете плодотворную роль», но долгая жизнь роману не суждена. Как говорится, встретимся через пару десятков лет — тогда и поглядим...

Не в укор роману и предложенное С. Ломинадзе объяснение «эффекта таких произведений, как «Плаха», отсутствием в журналистике, в социологии произведений, которые не являются литературой, но служат исследованием самых острых общественных проблем — социального, экономического, политического характера». Если писатель обращением к ним опережает журналистов и соцпологов, то это свидетельствует лишь о зоркости, пристальности, прощительности его взгляда на жизнь, низком «болевом пороге» в чуткой, обостренной реакции на драмы современного бытия.

Наркомания в ряду таких драм, охранительски замалчиваемых до самого падавшего времени. Острые, проблемные публикации, затрагивающие ее, начали появляться в печати едва ли не параллельно роману «Плаха». «Пожар в собственном доме», «социальная катастрофа» — так понимает наркоманию Авдий Каллистров. Воздадим ему должное и за стремление вырваться «на стремпину жизни, чтобы хоть в чем-то изменить ее к лучшему», и за масштабное видение проблемы. То и другое может служить достойным примером

многим авторам правоучительных брошюров о молодежи и для молодежи.

Так, читаем в одной, вышедшей в Ленинграде: и у нас в городе, сокрушаются социолог, появились «панки». И тут же вслед за сорвавшимся признанием — извинительное разъяснение: таких, конечно, единицы, и они никого не представляют, кроме себя. Невелико утешение. И от единиц, коль скоро существуют они на свете на беду ему или в укор, негоже отмахиваться. Не так уж и многочисленна, надо полагать, была «жалкая кучка парней и девчонок», которую, опять-таки «с патуры», живописует Е. Евтушенко в поэме «Фуку!». Но выход ее на московскую площадь «в день рождения Гитлера под всевидящим небом России» послужил поэту сигналом для драматичных раздумий о том,

Как случиться могло,
чтобы эти, как мы говорим, единицы
уродились
в стране двадцати миллионов, и больше,—такой?
Что позволило им,
а вернее, помогло появиться,
что позволило им
ухватиться за свастику в ней?

Вспоминается эпизод многолетней давности, промелькнувший в редакционных буднях «старой» четырехполосной «Литературки»: стояла как-то в номере публицистическая статья о наркомании, но не по воле редакции была снята на подходе к подписной полосе. Случилось это в 1962 году (!). И дойди в то время статья до читателей, она уже тогда стала бы сигналом надвигающегося бедствия. Сигнал не прозвучал: ложно понятые соображения престижа отдалили его на годы и годы. «Зачем он нужен, этот престиж, если за него надо платить такую цену!» — как не повторить за Авдием Каллистровым, чьи журналистские мытарства, как видим, изображены в романе более чем достоверно. А ведь хотел-то он, казалось бы, элементарного: «...через слово, через газету огласить криком боли всю страну».

Снова пайдены точные, прицельные слова. Не выговорить, а выкричать тревогу и боль, видя, как рушатся духовные основания, нравственные опоры человека, самораз-

рушается личность. Как берут верх жестокость и насилие, торжествует вседозволенность, проникая в человеческое сознание на всех — от бытового до общественного — уровнях жизни. Как сильна энергия агрессивного противодействия создающему трудовому разуму всего того косного и рутинного, что мешает людям чувствовать себя хозяевами на земле, трудиться «по своему разумению, а не по чужой подсказке». Не выкричав правды о том, что разъединяет, тщетно искать пути к единению, основы согласия и понимания. Но если крик, то тут уже не до музыкального лада. Действительно, ни в одном из предыдущих произведений Чингиз Айтматов не был таким дисгармоничным, как в «Плахе». Но как быть, что делать, если материал, охваченный романом, не располагал к умиротворенной гармонии?

Уместно будет сослаться на статью Чингиза Айтматова «Разум в ядерной осаде» (Правда, 1985, 4 февраля). Пафос ее в раздумьях писателя о неотложном велении нашего времени, выдвинувшего насущной, первоочередной задачей «переход от «корпоративного», блокового сознания человечества к глобальному восприятию единства жизни на земле, к иланетарному мышлению, перед лицом возрастающей ядерной угрозы существованию пародов».

В связи с этим беглое напоминание о предыдущем романе «И дальше века длится день...». И на обсуждениях его неоднократно говорилось, и в печати писалось о том, что условно-фантастический план повествования, космическая линия триединого сюжета решены не на художественном, а обнаженно публицистическом уровне. Вслед за этим раздавались упреки: увлеченный ведущей идеей общечеловеческой паритетности — мирного сотрудничества, равноправного диалога и на земной тверди, и в далых космоса, — писатель якобы пренебреж политеческой ситуацией в современном мире, противостоянием двух социальных систем. Совсем немногого «воды утекло» с тех пор — и что же? Понятие паритетности активно вошло в современный политический словарь. Вот нам и виновительное свидетельство того, что литература, искусство в силах предвидеть, предвосхищать, по первопутку выражать назревшие общественные потребности эпохи. Так и новое мышление, заявленное в упомянутой статье и ставшее сегодня одним из опорных понятий в философии и социологии, политике и экономике. Фундаментальная опо-

ра его — выстраданное понимание единства — и единственности! — жизни на Земле, а значит, и общности ее глобальных проблем, неделимых на свои и чужие, наши и не наши.

В полном тексте воспоминаний Юрия Трифонова об Александре Твардовском, напечатанном в «Огоньке», есть примечательное рассуждение о высокомерии, «с каким иные литераторы говорят о западной литературе, будто эта литература — какой бы высокой и значительной она ни была — все же чем-то ниже отечественной, мол, там чтиво, а здесь пища мозгам; там стиль, а здесь коряво, по правда. Все это ползет от непереваренной почвеннической фанаберии девятнадцатого века, не принесшей русскому искусству особых достижений, зато обольстившей наших мыслителей великим множеством приятнейших, душегрейных рассуждений...». Не совсем о глобальных проблемах современности речь, но определенно, ассоциативно и о них тоже. В цепреодоленности досужего деления этих проблем на наши и «ихние» слышится гулкий отзвук все того же душегрейного (слово-то какое ударное!) почвенничества. А между тем ни радиактивные осадки, ни кислотные дожди не признают пограничных столбоз и таможенных барьеров. Ясиополянскому парку угрожает та же опасность, что и Венскому лесу. Рейн или Нил загрязняются так же, как Волга или Днепр. Не нам и не им порознь, а всем вместе принадлежат проблемы, рожденные политическими, экологическими, демографическими и прочими кризисами, и решать их предстоит сообща, объединенными усилиями. От этого впрямую зависит будущее не отдельных стран и народов, а всего человечества, даже если оно избежит самоистребительной войны. Через такое понимание единства жизни, общности ее глобальных проблем только и лежит путь к «спасению разума на земле», а по Авдюю Каллистрову — к истине и совершенству. Только из такого понимания может произрасти всеобщее «чувство братства», которым поглощен он, самоуглубленно помышляющий об устремленности человеческого духа «к вершинам собственного величия».

Почему, как правило, буксуют и выдыхаются все наши дискуссии последних лет о современном герое? Потому, в частности, что действительное многообразие, доподлинный драматизм жизни не укладываются в прокрустовы канопы,

расхожие схемы положительности и отрицательности. Взять Бостона Уркунчева, продолжающего галерею Танабая Бакасова, Едигея Жангельдина и других любимых героев Чингиза Айтматова. В высшей степени положительный человек. А с точки зрения формально юридической — преступник, совершивший уголовно наказуемое деяние. Как быть с ним?

Пора, наверное, признать, что не в положительном или отрицательном герое дело, а в мыслящем, которого больше всего недостает современной прозе. И если Авдий Каллистратов при всех алогизмах его мышления как раз один из таких немногих, то в этом также видится важная особенность, неоспоримое достоинство романа «Плаха». Читатель, разумеется, вовсе не обязан безоговорочно принимать любой поворот мысли героя, безудержно радуясь одному тому, что он мыслит. Так и в случае с Авдием. Можно не соглашаться с ним, не разделять его проповедей, отвергать его способы действия. Но задуматься, чем вызваны его слова и поступки, должен каждый. Иначе легко вслед за ним выключить из нашего сознания, вычеркнуть из благодарной памяти и Алешу Карамазова.

Но почему он человек верующий? В таком решении образа, воплощении характера проступает все та же социальная и духовная реальность времени, которую чутко улавливает и на которую неукоснительно ориентируется писатель. Подтверждением тому могут служить и наблюдения над жизнью, и теоретические выводы, которые излагает философ А. Турсунов в статье «Атеизм и культура» («Правда», 1987, 16 января). «Сейчас, — считает он, — стала очевидной прямолинейность ранее существовавшего представления о непосредственной связи степени религиозности с уровнем образования. Известны ведь случаи приобщения к религии представителей интеллигенции (в том числе учителей), не говоря уже об увлечениях людей с высшим образованием (и даже учеными степенями!) всякими оккультными «науками». В то же время, объявляя религию пережиточным явлением, мы не можем просто отмахнуться от того очевидного факта, что подавляющее большинство верующих родилось уже в советское время и воспитывалось в условиях атеистического окружения». Задаваясь далее закономерным вопросом о побудительных мотивах «эффекта новообращения», учепый разъясняет, что тут «могут быть причины не только

внутренние (духовный кризис, вызванный индивидуальными, семейными и т. п. переживаниями), но и внешние («инфляция тех социальных ценностей, на которые ранее ориентировалась данная личность»). Таково истинное положение дел, и оно обязывает как к серьезному взгляду на религию, так и к проявлениям атеизма не в духе Остапа Бендера, кричавшего в замочную скважину: «Почем опиум для народа?»

Итак, Авдий Каллистратов — богопскатель. Следуя об разному контексту, художественной логике романа, хотелось бы поставить смысловое ударение на второй части слова, а первую воспринять синонимом правды: правоискатель. Нет нужды смущаться и частыми призывами героя к покаянию, если понимать его как момент критического анализа действительности и взыскательного самоанализа. В этом есть нечтоозвучное той нравственной традиции русской жизни, которую Юрий Трифонов в «Нетерпении» обозначил понятиями «пострадать и спасти». Такие слова всплывают в сознании Андрея Желябова на похоронах Достоевского — в миг душевного напряжения, духовного озарения, когда «вдруг так ясно, внезапно подумалось: а ведь ненависть у них к одному — к страданию. И поклонение тому же, и вера в силу искупительную — того же самого, страдания человеческого. Пострадать и спасти. И, значит, где-то в самой дальней дали, недоступной взгляду, есть точка соединения, куда стремятся они каждый по-своему: исчезновение страдания».

К своей «точке опоры в необозримых просторах вселенной» устремлен и Авдий Каллистратов. Он называет ее то Богом, то совестью, ставя оба понятия в синонимический ряд. Бог как совесть в душе — такой поворот мысли не совпадает с тем, как звучит мотив совести в других современных романах, но сопредельность звучаний обнаруживается явственно. Иногда по принципу «от противного», если ссылаться на героев романов Даниила Гранина «Картина» и Олеся Гончара «Твоя заря», независимо один от другого, но согласно друг с другом относящих совесть к «насквозь иллюзорным» представлениям, которые невозможно проверить и вычислить, измерить и взвесить. Потому для первого она «эфир, бесконтрольное состояние», а для второго и вовсе «пустой звук, нечто ничего не значащее». Что, как не девальвация сове-

сти, не дефицит ее, привнесло в оба повествования сходные акценты?

Мотив совести для Чингиза Айтматова — тоже один из самых сокровенных. Совесть как нравственный закон жизни, моральный императив, диктующий нормы общественного поведения и бытовой этики, — на том стоял Едигей Бураппый. У Авдия Каллистратова с ним не так уж многое расходится. Оттого и гибель его, распятого на низкорослом саксауле посреди великой Моюнкумской саванны, — страстный призыв к пробуждению совести.

Оглядывая творческий путь Чингиза Айтматова, нельзя не заметить, как от произведения к произведению у него нарастает трагическое мироощущение, усиливается трагическое мировосприятие, воплощаясь в трагедийном накале конфликтов и коллизий. Выразительное начало им положила давняя повесть «Материнское поле», где писатель впервые опробовал себя в условной поэтике, символической образности. Еще сильнее и все более по восходящей проявилось трагическое в повестях «Прощай, Гульсары!», «Белый пароход», романе «И дальше века длится день...». Но и в сравнении с ними «Плаха» дала наивысшую концентрацию трагедии, особенно многозначно — в finale романа. Нет оснований к спору с критиками, которые трактуют этот финал как образный аналог апокалипсиса, евангельских картин Страшного суда, где, однако, — так уж все смеялось, не реагировалось, переплелось в современном мире — наказание, кара за грехи выпадают не виноватым, а правым, не грешникам, а праведникам. Но предложенное прочтение не исключает и другой аспект, поданный в обобщенном философском плане и доведенный последней мыслью Бостона, «страшной истиной», открывшейся ему. Убийством Базарбая он покарал врага, но тем самым разрушил и «весь мир», который «до сих пор заключался в нем самом, и ему, этому миру, пришел конец». Так что же было делать, как поступать Бостону: не карать зло, покорно подставлять ему выю, смиряться, послушно и терпеливо принимая его удары за неизбежность рока? Нет на это в романе однозначного ответа. Да и вряд ли он может быть найден вообще, за пределами романа.

Из многих и разных суждений о сущности трагического в жизни и в искусстве выделим размышление Герцена: «Тра-

гический элемент не определяется ни болью, ни сипими пятнами, ни кулачной борьбой, а теми внутренними столкновениями, не зависящими от воли, противоречащими уму, с которыми человек борется, а одолеть не может, — напротив, почти всегда уступает им, измочалившись о гранитные берега нераेцимых, по-видимому, антиномий. Для того, чтобы так разбиться, надобно известную степень человеческого развития, своего рода помазание».

И Авдий Каллистратов, и Бостон Уркунчиев из таких «помазанников».

Но тут возникает новый вопрос, помнится, ребром поставленный на читательской конференции по роману, проведенной студентами факультета журналистики Московского университета:

— Антиномии названы, противоречия обозначены — а что же дальше?

— А дальше — разумно ответить — думайте сами. Думайте о том, будет ли на Земле XXI век и какими вы будете в него...

САМОСТОЯНЬЕ

(О повести Даниила Гранина «Зубр» и вокруг нее)

...Самостоянье человека,
Залог величия его.

Пушкин

По счастью, повести Даниила Гранина «Зубр» не пришлось долго ждать триумфального часа, хотя, по свидетельству писателя, журнальной публикации ее предшествовала «борьба, открытая, яростная. Причем те, кто ее развернул, действовали методами нечистыми, агрессивными», вплоть до угроз, которыми шантажировали сначала автора, затем журнал. Однако, как ни сильно было сопротивление, повесть не залежалась ни на писательском, ни на редакторском столе и, прия к читателю вскоре по написанию, не просто как нельзя более органично влилась в общелитературный контекст времени, в лексическом обиходе которого утвердились ключевые слова «перестройка», «демократизация», «гласность», но по-своему предопределила, направила, выразила смысл

и пафос обновления. «...Своеобразный тест, инструмент, испытывающий нас, нашу систему ценностей», — так определяет значение и место повести в литературном процессе наших дней Алексь Адамович. «...Разведка боем за новое мышление, за освобождение от догматического взгляда на человека, за победу над пустившим глубокие корни явлением, которое я назвал бы «сталинский синдром» в народе», — поддерживает, разделяет эту мысль участник берлинского подполья в годы Отечественной войны Н. Нумеров.

Начать с исключительной личности, уникальной судьбы невыдуманного героя повести — крупнейшего русского советского ученого Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского (1900—1981), который, однако, уместно заметить, во втором издании Большой Советской Энциклопедии не удостоился и беглого упоминания. А между тем ко времени выхода в 1956 году соответствующего тома он уже руководил отделом Института биологии Уральского филиала АН СССР и был не менее знаменит и признан, чем спустя двадцать лет, когда та же БСЭ третьего издания, неуклюже обойдя, правда, молчанием ни мало ни много все послевоенное десятилетие жизни учёного, назовет его труды по генетике, эволюционной теории, молекулярной и популяционной биологии, биофизике значительным вкладом в отечественную и мировую науку¹.

Среди многих и разных занятий ученого Даниил Грачин особо выделяет начатое еще в Германии, где его герой прожил 1925—1945 годы, изучение генетического действия ионизирующих излучений на живые организмы. «Только сейчас ясно, насколько вперед смотрел Зубр: на этих работах строится защита от радиоактивности». После второй мировой войны, Хиросимы и Нагасаки, последующих атомных взрывов, а в наши дни — Чернобыльской трагедии она обрела «грозную необходимость». Вот почему, пройдя по возвращении из Германии трагическую лагерную одиссею и вызванный из лагеря буквально на краю гибели, Н. В. Тимофеев-Ресовский в те самые годы уральской ссылки, о которых стыдливо умолчала энциклопедия, возглавил дело, воодушевившее своей гуманной миссией «самых разных людей, со-

¹ См. об этом подробнее: «Научное наследие Зубра» — «круглый стол» журнала «Наука и жизнь» (1988, № 2).

бранных на объекте»: они «нащупывали методы очистки вод рек, озер от радиоактивных примесей, изучали влияние радиозащитных веществ», искали «способы, приемы, средства защиты живого». То был «передний край биологии тех лет, разведка боем, которую она вела».

Передний край, разведка боем — справедливо повторить это и о многих других трудах Н. В. Тимофеева-Ресовского. Однако, ссылаясь на них, Даниил Гранин за редкими исключениями, как, скажем, спор с лысенковщиной в защиту генетической теории наследственности, не углубляется в существование специфических научных проблем, предпочитает, как правило, общие, суммарные суждения о достижениях и заслугах ученого, скрупулезно характеризующие его «стратегический подход к биологии», «огромный талант обобщения», «талант извлечения смысла», «умение находить главное и заниматься им». Иное дело — обстоятельность, с какой раскрывается в повести счастливый дар, притягательный талант человеческого общения. И для самого Зубра, и для его ближайшего, пеизменно большого и шумного окружения оно становилось своего рода опытной лабораторией «мыслеизвержения» — научных идей, гипотез, открытий. Отсюда каскад великих имен, названных в повести, благо что не только «с молодых лет окружали Зубра личности незаурядные», но и на всем жизненном пути как в России, так и в Германии, «замечательных людей кругом него было много». Замечательных биологов, физиков, химиков, математиков. Он питал слабость к талантам, собирая их вокруг себя, сплачивая по законам взаимного притяжения. И сам становился при этом «живой связью с прославленными учеными Европы и Америки. Люди, известные по учебникам и энциклопедиям, были его друзьями, приятелями, его соавторами, его оппонентами... Он сам был частью того мира. Он принадлежал одновременно и западной науке и русской, соединяя их».

Такая предпочтительность в расстановке смысловых акцентов отвечает программно заявленной направленности повествования: «Я не собираюсь описывать его научные достижения, не мое это дело. Не о них я пишу: я рассказываю про одну человеческую жизнь, которая, как мне кажется, стоит внимания и размышлений». В решении такой задачи Даниил Гранин пошел по пути поиска, чреватого многими и разными осложнениями. Далеко не главное среди них —

остерегающие наставления доброхотов вообще не браться за «слишком сложную биографию» Н. В. Тимофеева-Ресовского: «писать о нем — дело безнадежное». Не внять им было куда легче, чем погрузиться в доподлинную жизнь героя повести, которая «казалась неисчерпаемой» настолько, что ее и впрямь с лихвой хватило бы на «любой плутовской роман». Сочинять, выдумывать многого не пришлось бы — достаточно воспроизвести записанное впрок со слов самого Зубра, охотно и не без гордости порассказавшего о своих дворянских предках-куролесах и собственной юности, которая совсем «не была похожа на юность ученого»: он словно загодя «жаждал нахлебаться всякой всячины, прежде чем укрыться в тиши лаборатории».

Не одолей Даниил Гранин беллетристического искусса, не заглуши в себе «соблазн вырваться... из пут подлинных фактов, дат, адресов», это наверняка бы устроило и успокоило тайных и явных недоброжелателей как самого Н. В. Тимофеева-Ресовского, так — рикошетом — и повествующего о нем автора. Недаром поступить так призывал некий Д. — персонаж повести, вынудивший писателя к обещанию не раскрывать его имени. «Есть вечная любовь, до конца дней. Это была вечная ненависть», — сказано о его отношении к Н. В. Тимофееву-Ресовскому. Одержанностью, ненавистью, а также подловатым инстинктом самосохранения, шкурным страхом за себя, сыгравшего в судьбе ученого неприглядную роль зловещей тени, и продиктован казуистический совет писателю сделать из доподлинного человека лицо вымышленное: «...тогда все претензии разом отпадут. Вымышенный герой, с него спроса нет, и все загадки решаются».

На беду Д. и ему подобным писатель попался не из уступчивых. Прямыми вызовом им стало авторское предпочтение жанра: не свободный роман с вымышленным, хотя и прототипическим персонажем, а строго выверенная документальная повесть с исторически реальным героем. Два стимула, по признанию Даниила Гранина, побудили к такому выбору. Душевная потребность рассказать «о человеке, которого любил и хотел эту любовь передать читателю». И неодолимое желание, докопавшись до правды, отстоять добре имя «большого и честного ученого» от облыжных пересудов, оскорбительных кривотолков предвзятых или недобросовестных людей, которые «навесили на него много всякого рода

ярлыков, обошлись с ним жестоко и несправедливо». По смысловой и образной аналогии можно сказать о том и другом давними, но памятными строками Александра Твардовского из поэмы «За далью — даль»: они рождены тем же по сути чувством, проникнуты теми же переживаниями и убеждениями:

И дружбы долг, и честь, и совесть
Велят мне в книгу занести
Одной судьбы особой повесть,
Что сердцу встала на пути...
Я не скажу, что в ней отрада,
Что память эта мне легка,
Но мне свое исполнить надо,
Чтоб в даль глядеть наверняка.

Пиши Даниил Гранин в ключе беллетристическом, куда как выигрышно, к примеру, было бы сосредоточить свое авторское, форсировать наше читательское внимание на участии юного Н. В. Тимофеева-Ресовского в гражданской войне, благо уцелел кадр «плохо снятой кинохроники», где «его можно узнать в строю красноармейцев» на Красной площади в день всевобуча 28 мая 1918 года. Вот бы и расписать погороичней, как рядовой 113-го пехотного полка, затем командир взвода, не ведая будущей мировой славы ученого, сражался с белогвардейцами, пока, сваленный сыпняком, не был оставлен без призора на каком-то хуторе. Увы, не расписывается. Отчасти потому, что не только в Красной Армии, но и у «зеленых» довелось повоевать бойцу, попавшему при возвращении с юго-западного фронта в плен к анархистам. Атаман банды, потрясенный родственным знакомством пленика «с самим Кропоткиным», проникся к нему таким расположением, что, приблизив к себе, «стал брать на вылазки против немецких войск, которых клялся изгнать с Украины». Для завлечения героическим сюжетом ситуация не из выгодных, но возможно ли не помянуть ее в повествовании документальном? Еще менее «выгодно» внесюжетное рассуждение автора, ультимативно заявляющего о своем принципиальном пожелании приукрашивать героя и в связи с этим не оставляющего на его счет никаких прекраснодушных иллюзий. Если тот шел в Красную Армию, то «не

из политических убеждений. Не было этого. Политика не затрагивала его глубоко ни в юности, ни позже. Политические убеждения, как он полагал, есть у коммунистов и беляков. Коммунистом он не был. Беляком тоже... У Колюши и близких к нему людей убеждения были не политические, скорее патриотические».

Не будем, однако, спешить с расхожим определением «аполитичность», которое, как ни крути, ни оговаривайся, содержит по непреодоленной инерции неизменно бранный смысл. Хотя, можно подумать, именно оно сорвется с пера, когда выявится: «всплеск русской науки двадцатых годов» настолько захлестнет Н. В. Тимофеева-Ресовского, что его «красноармейское прошлое» недолго станет спорить с доводами университетских профессоров, наставников, исповедовавших «с высоты прожитого незыблемое преимущество науки перед суетой политических страстей... Рано или поздно, считали они, приходит понимание: единственно стоящая цель — служение науке, она не обманет, не разочарует. Наука, лабораторная работа, познание тайн природы — это было красиво, ясно и ограждало от прочих обязанностей. А если рано или поздно, то лучше рано, не теряя свежих сил».

Не об аполитичности «чистой» науки, якобы свободной, отстраненной от общества, ведет тут речь Даниил Гравин. О психологии научного творчества, покоящейся на полной и безраздельной самоотдаче ученых своему делу. Об этом пристало говорить как о подвижничестве, одержимости, хотя, по мысли писателя, столь звучные слова не очень подходят к тому, что было для каждого повседневной работой познания, шаг за шагом приближающей человеческую мысль к разгадкам неведомого. Вот и героя повести часто влекут «самый азарт, самая горячка работы», и он в согласии с Эйнштейном «прикосновение к тайне» понимает как «самое прекрасное и глубокое из доступных человеку чувств. В нем источник истинной науки. Тот, кто не в состоянии удивиться, застыть в благоговении перед тайной, все равно что мертв». Само прикосновение было лишь сигналом о том недоступном ему, Зубру, мире ослепительной красоты и мудрости, которые существовали в действиях природы». Что значило «перед волшебными процессами живого на земле» все остальное? «Не так уж много...»

Здесь мы выходим вслед за Даниилом Гравиным на тот

первый перекресток, где совершается поворот, на годы и десятилетия вперед предопределивший путь героя повести. Неукоснительно следя твердо усвоенному убеждению, что нет в мире «ничего выше науки», он чистосердечно считал, будто все зло, преследовавшее его лично, «шло от политики, от которой он бежал, ограждая свою жизнь наукой. Он хотел заниматься одной наукой, жить в ее огромном прекрасном мире, где чувствовал свою силу. А политика настигала его за любыми шлагбаумами, за институтскими воротами. Нигде он не мог спрятаться от нее».

Заменим политику политиканством, не вменяя неразличение их в вину герою повести, — и многое станет на свое место, не оставив поводов к спору. Ведь к тому роковому времени, когда Н. В. Тимофеев-Ресовский сочтет невозможным возвращение в Москву, разнужданное политиканство окончательно возьмет верх над разумной политикой, подомнет не одну судьбу выдающегося ученого, сокрушит не один бастион в науке. Особенно в биологии, представителям которой, разъясняет Даниилу Гранину «один из заслуженных наших генетиков» Д. В. Лебедев, «доставалось крепче, чем физикам и прочим естественникам... Слибка, конечно, не из-за гепов была. Не они встревожили. Преподнесли это как очаг сопротивления. Указаний не слушают, сами с усами, начальства не признают, считают, что в науке своей разберутся без вмешательства сверху. Наука ихняя должна развиваться, видите ли, свободно... В этом суть — свободно или по приказу сверху. Многие из нас ясно понимали, что в тех условиях это была борьба против культа личности». Который, добавим, не был бы культом, если б автократически не душил любую оппозицию себе, не обрушился на нее всей своей авторитарной мощью.

Даже неполная, усеченная хроника сталинского насилия над наукой, поданная в повести через восприятие её действительного героя, слагается в обвинительный мартiroлог, пестрящий великими именами и трагическими событиями. И нет поэтому никакой нужды напрягать воображение, чтобы представить воочию, чем и как завершился бы в 1937 году послушный приезд Н. В. Тимофеева-Ресовского на родину. Недаром после всех «неутешительных новостей» с родины наставники и друзья не переставали предостерегать: «не спешить домой, переждать... Надо годить, набираться тер-

пения, скоро все образуется, такое не может долго продолжаться». Однако же продолжалось и дальше, вплоть до кануна Отечественной, когда до Н. В. Тимофеева-Ресовского дошла очередная «страшная новость» — об аресте Н. И. Бавилова, а следом — смерти Н. К. Кольцова. «Оба события оказались внутренне связанными. И Бавилов и Кольцов были несовместимы с тем, что творилось в России. Они не могли сосуществовать с такими, как Лысенко и Презент. Для них невозможно было жить в атмосфере лженауки... Судя по всему, происходил полный разгром несогласных генетиков. Погибнуть, да еще в бесчестии, как враг народа, ради чего?»

Воистину «несправедливость и гнусность истории, которая настигла его в самый неподходящий момент...». Ждать перемен к лучшему предстояло вдали от родины, в стране, где победивший «фашизм становился бытом». И если для самого ученого жизнь в Бухе, берлинском пригороде, где размещался институт, «шла замкнуто, устойчиво, сохраняя свой распорядок дня, свои обычай», если «ход лабораторных опытов не менялся от прихода к власти фашистов», то вокруг институтской обители «рушились, падали королевства, правительства, горели города, бомбоубежища стали кровом, чемоданы — домами, горький дым поражений, бессилия и позора стался над Европой. Как можно было в этих условиях сидеть над микроскопом, возиться с мушками, препарировать, вскрывать разных козявок? Что это за мозг, что за нервы, которые могли отрешиться от грохота войны? Вырубиться, и не где-нибудь в Америке, в Африке, а здесь, в центре событий, в Берлине?»

Писатель не скрывает удивления, недоумения, непонимания, хотя допускает, ценою каких душевных мук давалось его герою выставлять себя «кругом правым... Дома бьют, долбают единомышленников, а он отсиживается у фашистов за назухой...». Отнюдь не судейски звучат поэтому и вопросы, навеянные раздумьями над драмами не до конца разгаданной, понятной судьбы: «Решение Зубра не возвращаться — поступок или самосохранение? Можно ли требовать от человека самоубийства? И если человек отказался шагнуть в пропасть, то поступок ли это?»

Между тем именно решения самоубийственного, выбрана самогубительного задания числом, спустя годы и десяти-

летия потребовали от героя повести иные критики-интерпретаторы, не различившие ни в судьбе ученого, ни в писательских раздумьях о ней ничего, кроме плоской альтернативы: «Восток или Запад. Уезжать или оставаться? Америка или Россия?» От столь поверхностного прочтения, упрощенного, спрятанного толкования идут высокомерные паставления Даниилу Гранину в том, что книгу о Н. В. Тимофееве-Ресовском ему надлежало писать с «позиции прощения народом» ошибок и проступков «своих именитых соотечественников». Иначе и «беспринципность Тимофеева-Ресовского по отношению к Родине» (В. Бондаренко), и его «положение невозвращенца, оставшегося не просто в чужой стране — в стане возможного противника» (А. Казинцев), получают якобы писательское одобрение: «Автор не просто пытается попять мотивы человека, оказавшегося в логове врага его страны и народа, даже не просто оправдать: он создает некий эталон величия» (доктор исторических наук и критик-проработчик по совместительству Аполлон Кузьмин). Даже «уродское», как называет его Даниил Гранин, словечко «невозвращенец» пущено, таким образом, в ход, будто неведомо всем троим, какая жестокая реальность народной истории породила чудовищное словообразование. Не случайно Федор Раскольников в знаменитом письме Сталинуставил его порождение в вину не советским ученым, вынужденно обрекшим себя на эмиграцию, а адресату письма. Вот и хочется напрямик спросить пынешних молодых да прытких обличителей: неужто они всерьез полагают, что отечественной науке (отечественной!) великие были бы слава и польза, если б Н. В. Тимофеев-Ресовский, а также помянутые в повести Чичибабин, Ипатьев, Добржанский, Гамов добровольно умпожили собой и без того немалое число жертв и утрат? Неужто в ущерб ей то, что ныне так называемые «невозвращенцы возвращаются — входят в энциклопедии, словари, им отдают должное, их цитируют, о них пишут...»? И папротив, не к чести отлучение постыдных, вроде академика Презента, имен, оставивших в педоборную память о себе «нетруды, а одни разоблачения. Не список работ, а список разоблаченных»?

О том, что ожидало Н. В. Тимофеева-Ресовского в Москве, нетрудно догадаться по материалам сессии ВАСХНИЛ, завершившей в 1948 году разгром генетики. С трибуны ее

назывались имена людей, окружавших героя гранинской повести. Так, старший друг, покойный наставник и учитель Н. К. Колыцов, чье предсказание двойного строения наследственных молекул на два десятка лет опередило возникновение молекулярной генетики, был обозван проповедником «расовых теорий в биологии», преподносившим «в своих писаниях под флагом науки реакционнейший и сумасшедший бред» (в речи философа М. Б. Митина). Эрвин Шредингер, вдохновленный Н. В. Тимофеевым-Ресовским на создание известной книги «Что такое жизнь с точки зрения физики», упомянут в докладе Лысенко как мистик, порвавший с наукой. Врагом Советской страны представлен еще один друг ученого — Ф. Добржанский (в речи биолога И. Е. Глущенко). И вкупе с ним в лагерь «наших заклятых врагов» зачислен сам Н. В. Тимофеев-Ресовский (там же). Не имеет значения, знал или не знал оратор, а также направивший его докладчик, что разоблачаемый ими «враг» хоть и сослан, но руководит в это время на биостанции в Миассове научными программами государственной важности и, к счастью для него — вот нам еще один парадокс, которыми насыщена жизнь Н. В. Тимофеева-Ресовского, — опекаем не ВАСХНИЛом, а совсем другим ведомством. Не будь такого парадокса, — с ученым бы не посчитались. Но вполне могло статься, что публичная политическая и гражданская компрометация его была нацелена как раз на устранение досадного неудобства, в силу которого «лаборатория на Урале была, пожалуй, единственным местом, защищенным от террора Лысенко, местом, где жила научная генетика»...

Отдают ли себе в этом отчет нынешние обвинители героя гранинской повести, чьи приговоры звучат подчас так отстраненно от реальности, чем подтверждается шутливое предположение писателя, будто мы «пушкинскую эпоху, екатерининскую, даже, может, петровскую представляем себе лучше», чем наши 20—30-е годы. Вдуматься — чего только не наговаривают, в чем только не винят Зубра, то ли по неведению, то ли злонамеренно пренебрегая тем очевидным, что как по форме (юридически), так и по существу (образу жизни) он не был ни невозвращенцем, ни эмигрантом, а все довоенные и даже военные годы «оставался советским гражданином и чувствовал себя независимо и непричастно», ибо «по-прежнему... считался в командировке, вместе со сво-

ей семьей, у них были советские паспорта», а институт в Бухе «числился германо-советским». Как гражданин СССР И. В. Тимофеев-Ресовский многократно отвергал всякие предложения сначала о германском подданстве, а затем, в разгар американской «охоты за мозгами», о переезде в США.

Пусть так, упорствуют неуступчивые оппоненты, равно на писателя и героя обрушивая инвективные вопросы. Разве не ясно заявлено в повести: «Не вернулся — и точка, и забыл, и окунулся вновь в свою биологическую немецкую буховскую жизнь»? Не разъяснено черным по белому, открытым текстом: «Зубр успокоился, его самого удерживал разворот лабораторных исследований. Бросить их на попуги, не получив результатов, он не мог. Физически не мог оторваться... О последствиях он не думал, плевать ему было на дальнейшее, ему нужно было завершить эксперимент»? Мыслимо ли такое для ученого, которого писатель величает «русским патриотом», не есть ли это «гордая самонадеянность науки» — почитать «служение эксперименту важнее любви к Отечеству» (А. Казинцев)?

Как знать, не в назидание ли таким интерпретаторам, че в опровержение ли их предугаданных инвектив приведен в повести эпизод, рассказанный Даниилу Гранину вдовой А. Л. Чижевского. Отбывая лагерный срок, ученый «выщорсил разрешение создать лабораторию, ставить кое-какие опыты, работать. Однажды в 1955 году, в один воистину прекрасный день, пришел приказ о его освобождении. Чижевский в ответ подает начальству рапорт с просьбой разрешить ему на некоторое время остаться в лагере, закончить эксперименты. С трудом добился своего, ибо это было нарушением всех правил, и завершил исследование». Ситуация, согласимся, из предельных: увлеченность и поглощенность делом вылились в поступок, тоже не поверяемый обыденной логикой, бытовой моралью. Так справедливо ли возводить его в норму, не считать исключительным лишь потому, что совершился он хоть и в лагерных условиях, зато на родной земле? (Уточним кстати: И. В. Тимофеев-Ресовский, не избежавший лагеря в первые послевоенные годы, попал в условия более тяжкие и едва не погиб там как раз потому, что «жажда жизни покинула его, жизнь лишилась прелести, смысла».)

Не обыденной логикой, не бытовой моралью руководст-

вовался и герой повести в Бухе, который был для него «не Германия и даже не Берлин. Бух представлялся ему теплицей, оазисом, непричастным к тому, что творится в стране... Для него ничего не изменилось. Он был свободен от страхов, свободен от повинностей. Он мог делать то, что делал». Тем более потому, что в системе его духовных ценностей, нравственных координат «само существование «тысячелетнего рейха» казалось безумным мигом перед вечными законами науки». Предпочитая вечность мигу, герой повести, однако, отрещается от него не настолько, чтобы не распознать человеконенавистническую сущность расизма, насаждаемого в фашистской Германии. Но к неприятию действительности фашизма идет так, как может идти ученый, — через науку, которая «приучает к международному братству ученых», проявившемуся, в частности, в спасении коллег еврейской национальности и советских пленных. Такова была его линия нравственного поведения, духовного сопротивления фашизму, его жизненная позиция, открытость и благородство которой особенно надежны на удручающем фоне сиюминутных пропагандистских, одномоментных идеологических кампаний, предпринимавшихся с обеих сторон в духе политической конъюнктуры, сообразной переменчивой злобе дня. Зная, как поистерлись они в памяти старших и вовсе неизвестны младшим поколениям, Даниил Гранин воскращает их через характерные штрихи и детали предвоенного времени, отпечатавшиеся в смятенном сознании обитателей Буха: «А в берлинских киношках крутили картину: на экране показывался Кремль, торжественный момент подписания договора о ненападении. Риббентроп горячо пожимал руку Сталину, обнимался с Молотовым. Все они довольно посмеивались, но у Риббентропа блуждала еще добавочная улыбочка, предназначенная немцам.

Газеты приводили выдержки из речи Молотова на сессии Верховного Совета: «Мы всегда были того мнения, что сильная Германия является необходимым условием прочного мира в Европе... Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция... стоят за продолжение войны...»

Он обвинял англичан и французов, которые пытаются изобразить себя борцами за демократические права народов

против гитлеризма, доказывал, что невозможно силой уничтожать идеологию: «Преступно вести такую войну, как война за «уничтожение гитлеризма».

В Берлине стали продавать «Правду» и «Известия». В них ругали англичан, не было ничего против фашизма, и все печатали материалы о шестидесятилетии Сталина...

Вскоре из России начали прибывать эшелоны с зерном, сахаром, маслом».

Сопоставим все это, происходившее в стране и мире, с пожеланием Зубра самоотреченно идти на заклание — ах, как мизерно значили на весах истории его строптивость и непокорство! Как перевешивали их действительные преступления перед страной и народом, которые безнаказанно совершили Stalin и его окружение!..

Что же, не разобрался, значит, погорячился Лев Андреевич Арцимович, когда, посетив Бух летом 1945 года, на виду у всех не подал Зубру руки? «Так Зубр и остался с протянутой рукой. Это была одна из самых позорных минут в его жизни». Арцимович же и «позже вспоминал о своем поступке без раскаяния»...

Размышляя однажды в развернутом диалоге-беседе с автором настоящей брошюры, о художественной специфике документальной прозы, Даниил Гранин отнес к наиболее сложным ее проблемам свое присутствие и участие в повествовании. «Документальная проза требует от писателя крайней высокой степени переживания. Связанный фактом, автор лишен возможности самовыражения, не может дать выход своему «я». Стало быть, дело тут в интенсивности, напряженности авторского чувства, которое должно проявиться как бы само собой... Особая проблема — мера авторского вмешательства в документальное повествование. Мне она тоже не всегда ясна. Знаю, что документальная проза не может обойтись без автора, но, вмешиваясь в документальное повествование своим «я», автор многим рискует. Он ведь тоже «документируется». Насколько уместно такое соседство?»

Авторские пометы на полях сюжетного действия значат порою в поэтике документального повествования много больше самого действия. Так и в приведенном эпизоде в Бухе, как нельзя лучше отвечающем на вопрос писателя самому себе. Комментируя поступок Л. А. Арцимовича от своего

имени, Даниил Гранин делает признание, подкупающая откровенность которого насквозь личностна и в то же время глубоко типична как объективное выражение общеразделяемых чувств и умонастроений. «В тот год я тоже не подал бы руки русскому, который работал у немцев. В тот год непримиримость жгла нас. Огонь войны очистил наши души, и мы не желали никаких компромиссов. Мы ко всему подходили с фронтовой меркой: где ты был — по ту или по эту сторону черты? Боролся с гитлеровцами — свой, не боролся — враг. Мы парили над всеми сложностями жизни, свободные и счастливые победители, для которых все просто»¹.

И еще раз о том же чуть дальше: «Мне сильно мешало мое прошлое, моя собственная война с фашистами. Я никак не мог представить себя в Германии, в Бухе, среди немцев, представить, что они там чувствовали. Я видел себя только стреляющим. Это был комплекс войны. Ничего я не мог поделать с собой. Я не мог вообразить себя по ту сторону, это значило бы стать перебежчиком, мне было никак не перейти линию фронта без оружия, без задания...» Такой «комплекс войны» — духовная мета времени. Исторически объяснимый «ненавистью за причиненное горе», но не безупречно правый, ограниченный и нетерпимый в нежелании разбираться — «кто фашист, кто не фашист». Этим воспользовалась лысенковская клика. Подвергнув «комплекс войны», нравственный ригоризм победителей спекулятивной абсолютизации, она демагогически обратила их против Н. В. Тимофеева-Ресовского уже не в послевоенные 40-е, а в «отгельные» 50—60-е годы, при повторном фаворе «народного академика».

В повести Даниила Гранина борьба с лысенковщиной — всего лишь один из сюжетов, причем не ведущий, не главный. Однако и при этом он крайне необходим повествованию

¹ «Даниил Гранин осуждает Л. А. Арцимовича — выдающегося нашего физика — за то, что он в 1945 году в Бухе не подал руки Ресовскому...», — осуждающее заявляет Аполлон Кузьмин («Наш современник», 1988, № 3), не останавливаясь, как видим, перед тем, чтобы придать отдельным эпизодам смысл, прямо противоположный тому, какой вкладывал в них писатель. Такова чаще всего цена критики, выпавшей повести «Зубр».

нию как сфера активных самопроявлений не только и не просто бойцовских качеств ученого, но духовных оснований, нравственных опор таланта. Тем и дороги Даниилу Гранину «отблески вулканического пламени», извергаемого его героем, что они не тускнели в ту мрачную для научного творчества пору, когда «ложь обретала ученую солидность» и «лжепрофессора принялись читать лженнауку, ставили лжеопыты, выпускали лжеучебники, молодые приспособленцы запищали лжедиссертации». Что, казалось бы, против этого единственный, хоть и «первый в стране после сорок восьмого года... практикум по генетике», наложенный Н. В. Тимофеевым-Ресовским на биостанции в Миассове наперекор тому, что «лысенковщина вновь набирала силу»? Или «генетический» доклад ученого в Москве, в руководимом П. Л. Кашицей Институте физических проблем, на очередном и, к слову, едва не сорванном «каничнике» 1955 года? Рядовые, скромные вроде бы факты в хронике научной жизни. Но это если жизнь нормальна, естественна. В ненормальных же, противоестественных условиях диктата, когда «слишком много было повырублено, переломано», а раньше и прежде всего «пострадало мышление людей», даже единичные факты такого рода разрастались в значительные акты открытой конфронтации с «бесовщиной». В ответ «пустили слух, что в Германии он работал на гитлеровцев, занимался опытами на людях, на советских военнооплененных. Пошли анонимные письма в ЦК, в Академию наук. Фактов не приводили, клевета не нуждается в фактах: «Как известно, он был главным консультантом Гитлера по биологии». «Был близок с Борманом». В измышлениях¹ не стеснялись... Это была искусная расправа. К тому же безопасная. Заплечных дел ма-

¹ Повторяя их, доктор химических наук, профессор Г. А. Седра (*«Наш современник»*, 1989, № 1) пошел дальше предшественников и возложил на Н. В. Тимофеева-Ресовского ответственность за «гигантский всемперский еврейский погром», учиненный нацистами 10 ноября 1938 года. На такие, дескать, «практические выводы» надушил их ученый своим участием в симпозиуме «Наука и мировоззрение», состоявшемся в октябре 1938 года, всего за полмесяца до «имперской хрустальной ночи». Не правда ли, убедительный довод в пользу «всегда дружеского», неизменно «хорошего отношения» автора письма к Н. В. Тимофееву-Ресовскому и его семье? Как говорится, «минуй нас пуще всех печалей» эта-кая дружба..,

стеров за руку не хватали, и они громоздили ложь на ложь». Нашлись охотники подхватить ее с ходу. Тот же Д., например, не преминул «категорически, почти официально-угрожающе» сигнализировать писателю о связях «Зубра с Гейзенбергом в период работ над атомной бомбой. Несомненно, что Зубр помогал, был с ним заодно. Он был связан с фашистской наукой. Доказательств прямых нет, но их надо искать, и они найдутся¹. Я, писатель, должен искать... После публикации моей вещи наверняка появятся люди, у которых есть компромат на Зубра».

«Компромата» не отыскалось, но надежда на него увлекла некоторых литераторов, не принявших повесть. С их легкой руки темные слухи о Н. В. Тимофееве-Ресовском как «коллаборационисте», его участии в работах немецких физиков над атомной бомбой, в евгенических опытах гитлеровских расистов и т. д., и т. п. перекочевали с листков анонимных эпистол на страницы литературной печати². Это побудило академика В. Струнникова, члена-корреспондента АН СССР А. Яблокова, доктора физико-математических наук В. Иванова выступить в «Литературной газете» (1988, 27 января) в защиту «замечательного ученого, которым по праву гордится наша и мировая наука», с протестующим письмом «Необоснованные обвинения». В нем популярно, азбучно растолковывается то, до чего не доверяющие писателю противники повести и ее героя могли бы при желании докопаться самостоятельно. Или если уж не самим докопаться, то хотя бы здраво внять совестливому голосу правды, пробившейся из дали военных лет: «Как один из оставшихся в живых участников берлинского подполья, как гражданин и

¹ Почти по «Теории судебных доказательств в советском праве» — фундаментальному «труду» А. Я. Вышинского, удостоенному в свое время Сталинской премии и объявленному библией юридической науки... См. об этом в статье Аркадия Ваксберга «Царица доказательств» («Литературная газета», 1988, 27 января).

² После публикации статьи В. Бондаренко «Очерки литературных нравов» («Москва», 1987, № 12), где содержался издательский по отношению к писателю и его герою разбор повести «Зубр». Верховный суд СССР отложил рассмотрение протesta по делу Н. В. Тимофеева-Ресовского, внесенного Генеральным прокурором СССР. Так реабилитация ученого снова оказалась перенесенной на неопределенное время. Такой ли действенности выступлений пристало добиваться современному критику? Неужто ему за нее не стыдно?

коммунист, я не могу отнестись равнодушно к тому, что сегодня кое-кем ставится под сомнение честное имя Тимофеева-Ресовского» (Н. Нумеров)...

Убежденная защита доброго имени ученого, его нравственного достоинства, гражданской чести во многом предопределила действенный гуманистический пафос гранинской повести. В этом отношении как явление художественное и одновременно общественное она сопредельна такой памятной книге-событию, книге-вехе, как «Брестская крепость» С. С. Смирнова. При всей разности документального материала, положенного в основу обоих повествований, на аналогию между ними настойчиво «работает» их исследовательский характер. Подобно С. С. Смирнову, который первым прошел по следам неизвестных героев Отечественной войны как писатель и историк в одном лице, объемное историческое исследование осуществил в повести «Зубр» и Даниил Гранин: укореняя в общественном сознании современников имя крупного ученого, он вместе с тем воскрешает и одну из неведомых страниц антифашистского Сопротивления.

Воскрешает — заметим — при демонстративном неучастии Зубра, который, казалось бы, как никто, заинтересован в разоблачении клеветы, восстановлении правды. Однако вопреки этому «он молчал. Молчание усиливало подозрения. Клевета расползлась...». И лишь пробив ее плотный заслон, Даниилу Гранину удалось дознаться о том, что происходило в Бухе сорок лет назад. «Постепенно мне становилось ясно, что существовала какая-то группа немецких антифашистов, связанная с Бухом, они помогали военнопленным, которым удалось бежать... Всего, по некоторым данным, насчитывалось более ста человек, в спасении которых приняли участие Зубр и связанные с ним люди». Имена некоторых спасателей и спасенных открылись «после всех расспросов, собранных документов, свидетельств». Попутно выяснилось, что «устойчивая мольва о русском профессоре-вызыволителе» ходила по Берлину начиная с 1942 года. Если бы сам Зубр рассказал в свое время писателю «о том, как они спасали людей», наверняка «можно было бы найти больше и свидетелей и фактов. Но он никогда ни словом не обмолвился». Ни о себе, превратившем лабораторию в «разноязычный, разноцветный Ноев ковчаг», ни один из обитателей которого не дал потом показаний, могущих хоть «чем-то по-

вредить его памяти». Ни о старшем сыне, арестованном гестапо и погибшем в концлагере Маутхаузен. «Зачем это?..» — резко оборвал он однажды прямой вопрос. «Фома — не индульгенция. Хотите украсить меня? Писателю нужен, конечно, сюжет! Как же без сюжета! Венец терповый... Оправдание... Все ваши сюжеты — вранье. Жизнь бессюжетна...»

В гневе он был не прав. Факты, добытые Даниилом Граниным и приоткрывшие «облик двадцатилетнего юноши», складываются в самостоятельный сюжет, как бы взаимоотражающий отца в сыне и сына в отце. «Все, что делал Фома, выросло из убеждений, взглядов отца, отцовского примера». Вплоть до самопожертвования перед арестом, когда «он мог скрыться... Было несколько вариантов. Но он знал, что по законам гитлеровского государства будут брошены в лагерь отец с матерью. Поэтому он не пытался бежать ни тогда, ни позже».

Таков — не побоимся громкого определения — героический сюжет, открытый, изученный Даниилом Граниным. И дополненный, продолженный, но так и не завершенный до конца. После первой журцальной публикации, рассказывает писатель во вставке, включенной в последующие издания повести, «я стал получать письма читателей, прежде всего людей, знавших моего героя. Их оказалось десятки. Потом перевалило за сотню. Тех, кто откликались. У каждого из них встреча с Зубром хранилась в памяти, они сообщали все новые подробности, случаи, эпизоды...». В ряду их — ценные сведения, которые поразили больше всего: о деятельности Фомы Тимофеева в подпольной организации, названной «Берлинским комитетом ВКП(б)». Благодаря им «история Фомы стала пополняться делами, бесстрашной работой подпольщика, ощущимей стала та атмосфера соучастия, что царила в доме Тимофеевых в годы войны».

Почему же — с новой остротой возникает прежний вопрос — сам Н. В. Тимофеев-Ресовский «так ничего и не открыл про антифашистское Сопротивление в Бухе, про то, чем занимались Фома и его друзья»? Почему, горделиво самоустранившись, предоставил другим «заниматься археологией, искать черепки», хотя лично ему «ничего не стоило собрать свидетельства военнопленных, которых он спасал в Германии, прятал у себя»? Сделай он так своевременно —

«посрамил бы клеветников и появился бы перед ними как один из героев антифашистского Сопротивления. Это была бы славная история о советском ученом, который, отвергнув свое безопасное существование, включился по-своему в борьбу с фашизмом в центре Германии. История о том, как, потеряв сына, он не отступил, продолжал... Оснащенная документами, датами, именами, фотографиями, она выделялась бы из многих других».

Ничего похожего сделано не было: «Действительная жизнь, — недаром обронено в повести, — тем и отлична от сочинений, что никак не догадаешься, куда она свернёт». И остается предполагать: не боязнь ли смешать сочиненное с действительным, не смущение ли их внешним подобием останавливали героя повести? Или, как допускает писатель при частичном согласии с ближайшими друзьями Зубра, «гонор мешал. Оправдываться не желал, доказывать свою честность, порядочность, любовь к родине. Не желал защищаться гибелью сына. Гордость не давала. Самолюбие. Перед кем оправдываться? Перед клеветниками, шпаной, людьми, лишенными совести? Кровь потомственного русского дворянина заставляла его молчать?» Если и правда в гоноре да гордыне причина, в том, что «вздыбился аристократизм» дворянина, который «ощущал себя ближе к Александру Невскому, чем к современникам», то такое эгоцентрическое чувство в самом деле заслуживает упрека, от которого не удерживается писатель: «Отмалчиваясь даже перед друзьями, он поступал неумно. В этом, кроме прочего, было еще обидное высокомерие. Теперь, оценивая случившееся, можно понять Зубра, но нельзя его оправдать. Он позволял себя любить, и только. Он не разрешал себе быть перед нами несчастным, обиженным, не искал наших утешений. Это было неравенство, тайное чувство превосходства человека иных сил, прав и обязанностей». Вполне возможно, что так оно и происходило. И все же такое понимание героя, чей душевный «секрет» объясняется пушкинским словоизобретением «самостояние», в чем-то неполно, какого-то доминирующего или завершающего штриха недостает. Например, допущения, что показным равнодушием к собственной репутации, которая в действительности «еще как заботила», он бунтарски отторгал, выключал себя из системы узаконенного беззакония, что ставила человека в противоестественную ситуацию, обрека-

ющую удостоверять: он «не». Не классовый враг, не агент империализма, не закордонный шпион, не идеологический диверсант, не политический двурушник. Для личности с развитым самосознанием, обостренным чувством достоинства более чем унизительно...

Один из сквозных мотивов повести громко заявлен уже первой сценой: престарелый Зубр, нежданно появившийся во Дворце съездов на открытии международного конгресса, «позволял себе быть самим собою» и посреди вызванного им ажиотажа. «Оставаться самим собой» в любых обстоятельствах было «самое, пожалуй, непременное условие его существования». От этого глубинного корня — нравственный и научный авторитет, счастливо соединенный и в Н. В. Тимофееве-Ресовском, и во многих его предшественниках и современниках, названных в повести. Чем круче «горная цепь» науки, образованная их именами, тем крупнее заданный ими «масштаб высоты». В случае с героем повести нравственные основания научного творчества, не раз испытанные на пределе и даже за пределом возможного, оказались небывало прочного — «стойкость благородного металла? — сплава. Тайпа Зубра, которую упорно разгадывает писатель, именно «в том, что остался, сохранился, не уступил ни демонам, ни ангелам, разрывающим душу надвое. Благоополучный человек, он может позволить себе быть нравственным. А ты удержи свою нравственность в бедствии, ты попробуй остаться с той же отзывчивостью, жизнелюбием, как тогда, когда тебе было хорошо».

Зубр удержал, ибо силы ему «придавала вера. Он верил в справедливость, в превосходство добра над злом, в абсолютность добра». Оттого и повесть о нем воспринимается не только сама по себе, не просто как самостоятельное художественное целое, но еще как глава или часть той будущей книги «о чести и бесчестии», об уроках порядочности, великодушия, красоты души, написать которую, оказывается, давно мечтает Даниил Гранин...

О ЧЕМ «НЕ ПЕЛИ НАШИ ОДЫ» (Повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая»)

Бывает так, что произведение становится фактом литературы задолго до своей публикации. Повесть Анатолия При-

ставкина как раз такой счастливый, но редкий случай. В конце 1985 года, то есть за год с лишним до появления в журнале «Знамя», она горячо обсуждалась в рукописи в расширенном бюро творческого объединения прозаиков Московского отделения Союза писателей РСФСР и была единодушно признана не просто заметным, но событийным, принципиальным явлением. К лучшим достижениям литературы отнес ее Алексей Адамович в речи на VIII съезде писателей СССР. Казалось бы, удивительно: повесть еще не напечатана, а о ней уже говорят и оценивают так высоко.

Между тем ничего удивительного: она заполнила вакuum, созданный замалчиванием темы, которая не годы даже — десятилетия была отнесена к запретным или в лучшем случае нежелательным, а потому и рискованным. Отсюда особый интерес к ней, выражающий обостренное — а как иначе? — чувство уважения к профессиональному достоинству и гражданскому авторитету литературы, к мужеству, честности, совестливости писателя, то есть ко всему тому, из чего складывается объемное, многомерное понятие правды жизни, правды искусства.

Объемно, многомерно оно и у Анатолия Приставкина. Как верно сказано на обсуждении повести московскими прозаиками, ко многим образным определениям войны она добавляет еще одно точное и емкое, которое может стать своего рода художественной формулой: у войны — сиротское лицо. И в самом деле: с такой впечатляющей силой сиротское лицо войны пока что не воссоздавалось. Едва ли не единственную аналогию детдомовскому житью-бытию, изображенную Анатолием Приставкиным, подсказывает давняя повесть Виктора Астафьева «Кражा», но она о другом времени и других судьбах, и драматизм ее несколько иной социальной природы.

Доподлинность, достоверность — в общем-то верные, но блеклые, стертые слова, лишь отчасти способные объяснить напряженность эмоционального, нравственного переживания, которое вызывает повесть Анатолия Приставкина. Тут и мгновенный отклик памяти войны на произвольно узнаваемые приметы и детали тылового быта — таковы, например, колоритные сцены, живописующие привокзальный базар в Воронеже. И участливое сострадание изломанным, по-

кореженным судьбам детей, полной мерой хлебнувших бездомность и неприютность. И неослабная приобщенность к общенародной боли, общенародной беде, выразительная печать которых неизгладима на многих и разных героях: Регине Петровне, вдове летчика, оставшейся с двумя малолетними детьми; Демьяне Ивановиче, чья жена и дети заживо сожжены гитлеровцами: сторожихе Зине и «шофернице» Вере с консервного завода, — обе они сполна прошли ужасы оккупации. Но раньше и прежде всего — па Сашке и Кольке Кузьминых, осиротевших братьях Кузьменышах...

С удивлением и тревогой наблюдаешь иной раз в современной литературе, как некоторые писатели начинают вдруг как бы любить — нет, не самое войну, разумеется, а свою память войны. Дети тяжких военных и неустроенных послевоенных лет, они с нынешнего расстояния десятилетий слишком уж элегически, любовно и умиленно вспоминают о голоде и холоде, безотцовщице и сиротстве, детдомовском топчане и стылой школе, хлебной пайке и прочем лихе, которого каждый черпнул по-своему, по вдосталь. Так прожитое и пережитое окутываются зыбкой поэтической дымкой, скрывающей их реальные очертания. И хочется развеять туман, всколыхнуть притупившуюся память, возвратить к здравому смыслу: негоже сбиваться на ностальгию по тому, что было горем для всех.

Повесть Анатолия Приставкина спирает эту проблему. Или по крайней мере дает надежную опору для противодействия подобной ностальгии не логическими доводами разума, а художественной правдой характеров и обстоятельств, вступивших в органичное образное единство. Забыть ли мечту Кузьменышей о буханке хлеба, которую опиши разу не то что не съели, а и в руках не поддержали? Впервые увиденный ими батон, который распознали потому только, что его «в одном военном кино показывали»? Баклажанную икру, тут же по незнанию переименованную в «блаженную»? Подкоп под хлеборезку? «Запачку» с уворованными бапками джема, которые запасают впрок, страшась голодной зимы? И многое-многое другое, из чего соткана жизнь детдомовцев с ее редкими и скучными удачами, когда сбывается мечта «извечная голодного шакала о жратве»? Не часто она сбывается, да и то лишь у самых смекалистых, изворотливых на выдумку. Старая галоша, «Глаша», на кото-

рой Кузьменыши сплавляют джем, вызывает улыбку: надо же додуматься! Но грустная эта улыбка отдает печалью и горечью.

Но не только печаль сопереживания, сострадания обездоленному детству пробуждает повесть. Один из сквозных ее мотивов — гневное возмущение плесенью, накипью войны, выплеснувшей на поверхность всю гниль. Мрачное олицетворение ее — объедающий томилинский детдом ворюга-директор. «От войны за детишками спасается», — сказано о нем. Не просто правственная оценка явления, но и его точный социальный диагноз. Не «рикошетит» ли, однако, со средоточенным на нем взглядом писателя, растворяясь в восприятии томилинского директора героями-подростками? Не возводит ли аномалию в правило, уродство в норму?

Риторический, праздный вопрос, по существу снятый сюжетом повести, расстановкой действующих лиц. Нахрапистый захребетник, объедающий голодных детдомовцев, — персонификация зла, которому деятельно противостоят добро и отзывчивость, понимание и участливость. На их полюсе — безымянныи машинист паровоза, останавливающий состав посреди поля: «Россия не убудет, если детишки раз в жизни наедятся». Суматошная, крикливая Зина и веселая, разбитная Вера с консервного завода, воспитательница в Березовской колонии Регина Петровна. И конечно же, ее директор Петр Анисимович Мешков. По сюжету повести так и останется неизвестным, что именно произошло в колонии в рожковой день гибели директора, как и почему погиб он, но ясно, что погиб на посту, защищая вверенных ему детей, при честном исполнении служебного, гражданского и просто человеческого долга.

Несколько особняком в повести действует проводник Илья. Человек порушенной судьбы, он не принадлежит ни тому, ни другому полюсу, и отношение к нему сложно, неоднозначно: стремление понять сильнее желания осудить. Попытать при этом не значит простить: его поступки не вызывают одобрения ни автора, ни героев. Но как знать, так ли нескладно сложилась бы жизнь Ильи, не попади он в малолетстве под кампанию раскулачивания и не окажись одной из тех щепок, которые летят, когда лес рубят?..

Сиротское лицо войны — первый сюжетный пласт повести. С ним плотно состыкован второй пласт, о котором вер-

нее всего сказать строками Александра Твардовского из поэмы «За далью — даль»:

О том не пели наши оды,
Что в час лихой, закон презрев,
Он мог на целые народы
Обрушить свой верховный гнев.

Кавказская трагедия, увиденная глазами братьев Кузьменышей, показана без вытягиваний и упрощений, на которые легко было сбиться задним числом, во всеоружии пынешнего знания и понимания давних событий. Ни дети, ни даже взрослые, действующие в повести, такими знанием и пониманием не обладали. «Это ведь непонятно, что происходит» — любимая фраза-присказка Петра Анисимовича Мешкова воспринимается как рефрен, сопровождающий и обостряющий «ощущение тревоги», которое впервые завладевает детдомовцами на пути от станции к колонии и затем под глухие взрывы в горах все более нарастает, усиливается по мере движения сюжета, сплетающего поначалу разрозненные эпизоды в тугой узел драматического, с трагедийным исходом финала. «Что мы знали, что мы могли понимать в той опасности, которая нам угрожала? Да ничего мы не понимали и не знали!» Должно пройти время, чтобы события, разыгравшиеся в finale, соединились с другими, предшествовавшими им, стали, как начальное и конечное звенья одной цепи, в неразрывный ряд с тем «малым» эпизодом, который еще по пути к Кавказу привелось увидеть Кольке Кузьмину на станции Кубань: арестантский вагон с чеченскими детьми, руки, впившиеся в решетку окна, и «глаза, наполненные страхом»...

Проследим некоторые ведущие сюжетные опоры остроконфликтного, плотно слаженного, логично выстроенного повествования.

Сначала — недоумение над странной, непривычно тихой жизнью станицы Березовская, которая, как вскоре узнают Кузьменыши, еще недавно называлась Асланбек. «Скрытое как-то живут» в ней русские переселенцы, «неуверенно, потому что по вечерам и на улицу не выходят, и на завалинке не сидят. Ночью огней в хатах не вожигают. По улицам не шатаются, скотину не гоняют, песен не поют. Черт знает,

как они могут так жить, но живут — вот что главное». Затем — пожар в колонии, после которого Кузьменыши «одновременно подумали о том, что в Томилине, в этой грязной помойке, хоть и было им неуютно, но жилось проще, спокойней, чем здесь, среди этих прекрасных гор». И постепенно проясняющиеся детали ночного происшествия — взрыва и пожара: следы копыт на земле и блестящая медная гильза в траве, ружье, нацеленное в Регину Петровну, но отведенное, как мы догадываемся спустя ряд эпизодов и сцен, рукой Алхузура, сверстника Кузьменышей. На том же сюжетном витке, в довершение всего случившегося и в преддверии еще более страшного, что надвигается исподволь, — «дробный стук копыт, ржанье лошади и гортанные выкрики»: нападение на Березовскую, гибель Веры, побудившая братьев тревожно задуматься над тем, чему они и слов подыскать не умеют. «Была эта Вера, возила нас, кричала чего-то... А потом раз — и нету. А куда же она делась?» И почему «всегда есть» и горы, и речка, но «люди? Они-то что?».

Психологически безупречен этот эпизод, соединяющий два мотива, два — внешний и внутренний — сюжета. По мере того как действительность открывается Кузьменышам на уровне их разумения, происходят сдвиги и в душах, сознании подростков. Писатель не спешит облегчить им постижение истины, но, чуткий к правде событий и характеров, понуждает пытливо вслушиваться в разговоры окружающих, в которых искомая истина кристаллизуется по крупицам, пробиваясь через павалы непонимания, заблуждений и просто лжи.

Таков подслушанный разговор солдат, обстрелянных в горном ущелье, и всполошенный выкрик раненого: «Басмачи, сволочь! К стенке их! Как были сто лет разбойниками, так и остались головорезами! Они другого языка не понимают, матят их так... Всех, всех к стенке! Не зазря товарищ Сталин смел их на хрен под зад! Весь Кавказ надо очищать! Изменники Родины! Гитлеру прод-да-ли-сь!».

Контраст этому — рассказ Регины Петровны о пережитом в почве пожара и ее ответ на прямодушный Сашкин вопрос, страшные ли «чечены», которых она видела лицом к лицу: «Люди, как люди... И мальчик, такой, как вы... Он во все глаза на меня... Отец прицелился, — и она опять показала на лоб, — а он его за локоть...»

Вслушаемся далее и в такой диалог братьев Кузьменышей:

«— А зачем они жгут?

— А фашисты зачем жгут?

— «Фашисты! Сравшил... Какие же они фашисты!

— А кто? Слыхал, как боец про них кричал? Все они, говорит, изменники Родины! Всех Сталин к стенке велел!

— А пакан... Ну, который за окном? Он тоже изменник? — спросил Колька. Сашка не ответил.

Ни до чего братья не договорились».

Как ни до чего не договорились они и с Региной Петровной, задумчиво произнесшей в одной из сцен: «Плохих народов не бывает, бывают лишь плохие люди.

— А чеченцы? — выпалил Сашка. — Они Веру убили.

Регина Петровна не ответила».

И наконец, еще один ключевой диалог, который, как и другие приведенные и неприведенные, может служить образцом искусного соединения текста и подтекста, когда пауза, выдающая невысказанные вслух растерянность, сомнение или смятение, значит не меньше, чем произнесенное слово. «Лучше мы их, чем они нас», — веско роплет Демьян Иванович. «Но зачем же убийства-то?» — робко противится, распознав жестокость, Регина Петровна. И дальше:

«— Видать, по-другому не могут. Гитлеру продались! Их довоенного прокурора генералом своим сделал! У них резать русских — это национальная болесть такая!

— А если вас станут из дома выселять? — спросила тихо Регина Петровна».

Вопросы, вопросы... Один неотвязней другого, и все вроде бы неотвеченные. Но напряженно пульсирующая мысль упорно доискивается ответов, стремясь попять и объяснить происходящее, постигнуть правду. Добро бы только поспешная готовность Регины Петровны списать все на войну, ожесточившую людей, стояла на пути к пей. Камень преткновения — психологически мотивированные выплески межнациональной розни, нескрываемой вражды, которые спровоцированы политикой репрессий. Тем ведь и порочны, преступны акции выселения, что они изнутри размывали и разрушали в людях сокровенное «чувство семьи единой», ослабляли и подрывали интернациональное единство народов — великое историческое завоевание советского строя. Воздадим

же Анатолию Приставкину должное за честное и мужественное извлечение горьких, но поучительных уроков истории, за пелицеприятную, но принципиальную их — в том числе — политическую оценку, которая нигде прямо не декларируется, но как бы сама собой, ненавязчиво, без наожима следует из целостного контекста повести. Это ли не свидетельство писательского мастерства в воплощении темы, совершенства социального и психологического анализа?

Яспое и четкое постижение истины во всем ее объеме дано не героям повести, всюду остающимся на исторически обусловленном уровне сознания, но художественной мысли, реализованной в образном единстве характеров и обстоятельств — расстановке героев, соединении событий, неестественном самодвижении сюжета, внутренней логике конфликтов. Несправедливость порождает несправедливость, насилие — насилие, преступление — преступление, и нет конца этой цепной реакции зла с обеих сторон. Как ни ужасает изуверство, учиненное над Сашкой Кузьминым, распятым на стеле дома в Березовской, оно не причина, а следствие, не повод, а результат. Или, точнее, трагический эпизод в нерасторжимой цепи причин и следствий, неразрывном сплетеении поводов и результатов. Уже после того, как «все худшее, что могло бы с ним случиться... уже случилось», Колька услышит разговор, который объяснит разыгравшуюся трагедию: «Разговаривали негромко, но можно было разобрать, что толковали о черных: что вот-де их окружили в горах, часть постреляли, а другая часть прорвалась в долину и устроила резню. Местные жители, кто уцелел, бежали. Тещерича приказ такой, никого не жалеть, а если в саду, или в доме, или в поле спрячется, так палить вместе с домом и полем... Если враг не сдается, его уничтожают!»

Но и это еще incomplete объяснение. Ему недостает исходного начала начал (и одновременно последней, завершающей точки), которое писатель восстанавливает ретроспективно, из наших нынешних дней, от своего авторского «я» повествуя о встрече с неким Виктором Ивановичем, загадным завсегдатаем лефортовской бани, а в прошлом лихим автоматчиком в частях МВД. Тех самых, что «этых, черных, вывозили», которые «Гитлеру продались». Его воспоминание об одной из «операций», которую «за три часа... провели», включая «десять минут на сборы — и в погрузку!», восполн-

няет то, чего не видели и не знают, не могли видеть и знать герои повести, и как бы замыкает круг трагических событий вокруг распятого Сашки Кузьмина. И то, что несчастной их жертвой становится ни в чем не повинный подросток — вот она, слезинка замученного ребенка! — яснее всего подчеркивает необратимость зла, которое порождено неправым, античеловечным делом и в свою очередь порождает всерастлевающую, всесокрушающую бесчеловечность.

Мастерски переданы в повести картины разора в колонии (точно найденная деталь — сначала пряжка от директорского портфеля, а потом и сам портфель посреди захламленного двора), прощание Кольки Кузьмина с братом, его мысленный разговор с ним и внутренний монолог, в котором он по высшему счету гуманизма интуитивно прозревает неразумие зла, содеянного наперекор природному человеческому и народному разуму: «Вот, — сказал, — небось сам слышал, как солдаты, наши славные боевые бойцы говорили... Едут чеченов убивать. И того, кто тебя распял, тоже убьют. А вот если бы он мне попался, я, знаешь, Сашка, не стал бы его губить. Я только в глаза посмотрел бы: зверь он или человек? Есть ли в нем живого чего? А если бы я живое увидел, то спросил его: зачем он разбойничает? Зачем всех кругом убивает? Разве мы ему чего сделали? Я бы сказал: «Слушай, чечен, ослеп ты, что ли? Разве ты не видишь, что мы с Сашкой против тебя не воюем. Нас привезли сюда жить, так мы и живем, а потом мы бы уехали все равно. А теперь, видишь, как выходит... Ты нас с Сашкой убил, а солдаты пришли, тебя убьют... А ты солдат станешь убивать, и все: и они, и ты — погибнете. А разве не лучше было бы, чтобы ты жил, и они жили, и мы с Сашкой тоже чтобы жили? Разве нельзя сделать, чтобы никто никому не мешал, а все люди были живые, вон как мы, собранные в колонии, рядышком живем?»

На высоком трагедийном накале выдержано напружиненное, стремительное действие последующих, завершающих глав повести: встреча Кольки и Алхузура, побратимство и отчаяние их, двух отверженных скитальцев-изгоев, не знающих, «как им дальше жить»: одного, в горах, «чечен стреляет», другого, в долине, «баэц стрылат».

«— Выезд плох! — вздохнул Алхузур. — А зычем опи стрылат? Ты цынымаш?

— Нет, — сказал Колька. — Я думаю, что никто не понимает.

— Но оны же больше... Оны же умыны... Тэк?

Колька ничего не ответил».

В цепи описаний и эпизодов, составивших скитальческую одиссею неприкаянных побратимов, впечатляют картины пожарищ («урожай палит»), застлавших дымом поля и дороги. Мимолетное появление солдата Василия Чернова, чутким сердцем понявшего беду детей и в меру сил облегчившего ее (а ведь, по всему судя, догадался, что Алхузур никакой не брат Кольки). «Стальной, как дуло его ружья», свет глаз чеченца и его крик «Мой зымла! ...Мой дом!» (А все-таки не выстрелил в Кольку, хоть грозился убить. Значит, стронулось, шевельнулось что-то и в его озлобленной, ожесточившейся душе. Может, разжалобили ее недетские слезы Алхузура-заступника?).

Потрясает встреча Кольки с Региной Петровной, отыскавшей уцелевшего Кузьменыша в Грозненском детприемнике. Не будем судить ее строго, не из корысти, а из страха перед жизнью, из желания защитить и спасти своих «мужиков»-малолеток бежавшую из Березовской под опеку Демьяна Ивановича: не по любви — от отчаяния этот брак, который наверняка не принесет счастья. Не корить бы ее, а пожалеть, посочувствовать. Но с другой стороны, разве не прав Колька, после гибели Сашки и всего пережитого вслед за этим не прощающий любимой воспитательнице путь невольного, вынужденного, но отступничества? «Сашка, может, и простил бы ее бегство, но Колька не мог...» И она — психологически безукоризненная сцена! — признает его правоту так же, как и свою вину перед братьями. Недаром «не выдержала, отшатнулась» под пристальным Колькиным взглядом, который не потеплеет, не подобреет даже тогда, когда она, признав в Алхузуре Сашку Кузьмина, возьмет на себя грех очевидного лжесвидетельства. Кольке не понять, что значил для нее (и во что мог обойтись ей по тем временам) такой поступок, но мы, читатели, знаем: в той реальной жизнепрой, ситуации, в какой они оба оказались, это было сродни бескорыстному и... самогубительному гражданско му мужеству.

Как, равным образом, сродни ему и ответ Ольги Христофоровны Мюллер, начальницы детприемника, следовате-

лю, зловеще обвинившему ее («понабрали тут») в потере бдительности:

— Мы их не набираем, — сказала Ольга Христофоровна.
— Мы их принимаем.

— Надо знать, кого вы принимаете! — чуть громче произнес человек, и опять же никакого зла или угрозы не было в его словах. Но почему-то взрослые вздрогнули.

И только Ольга Христофоровна упрямилась, хотя видно было, что она больна и ей тяжело продолжать разговор.

— Мы принимаем детей. Только детей, — отвечала она».

Таким исподволь зародившимся и набравшим к финалу полнозвучного выражения мотивом доверия к жизни, к ее природным нравственным основаниям, разумным гуманистическим началам, включающим в себя и пеистребимое интернациональное «чувство семьи единой» (детприемник — своего рода маленький интернационал, с бору по сосенке представляющий монгие, в том числе и «опальные» пароды), завершается повесть. Он как луч надежды, что мерцает в дали неизвестности, которая ждет впереди Кольку и Алхузура. И трудно представить более ударный финал, который бы так же органично, естественно вытекал из остро-конфликтного действия повести, сливая художественную логику слюкета с социальной логикой действительности, человеческого и народного бытия...

«БОРЬБА И ПОБЕДА»

(Об автобиографической повести
Анатолия Жигулина «Черные камни»)

Только полная правда
Жива и права.
А неполная правда —
Пустые слова.

Анатолий Жигулин

Автобиографическая повесть — первое большое прозаписческое произведение поэта Анатолия Жигулина — называется «Черные камни». Такое название посыпал лагерь на Колыме, где в начале 50-х привелось побывать автору повести, тогда совсем еще юному поэту, но для лагерного начальства вакоренелому политическому преступнику, приговоренному

му к десяти годам лишения свободы. Однако в целостном образном строе повествования «Черные камни» — не только и не просто наименование колымского лагеря, а раньше и прежде всего емкая метафора жизни, вышавшей писателю. Заглавный символ, объемлющий вехи человеческой судьбы, которая принимает на себя удары эпохи. И вехи самой эпохи — того рокового отрезка народной истории, который до недавнего времени обозначался верным, но несколько обтекаемым понятием «культ личности Сталина», а в ходе перестройки обрел куда более точные, четкие дефиниции: сталинская диктатура, сталинизм, сталинщина.

Ради раскрытия, постижения конкретно-исторического содержания этих понятий Михаил Шатров строит пьесу «Дальше... дальше... дальше!» как развернутый политический диспут и сводит в ней Ленина и Сталина лицом к лицу — в прямом, резком споре о социальных и духовных идеалах Октябрьской революции, гуманных и антигуманных путях, подлинно демократических и чуждых демократии методах строительства социализма. Против сталинистских извращений гуманистической природы советского общества направлена призыв Ленина «сказать громко и внятно: социализм — да! Все осуществленные социалистические преобразования — да! Методы Сталина — нет! Нравственность по Сталину — нет!». Это жесткое, решительное «нет!» звучит непререкаемым приговором преступлениям против социализма, деформациям его социальной и духовной сущности, искажениям демократических принципов социалистического народовластия, кощунственному попранию гражданских прав и свобод человека. Все вместе и составляет содержание сталинизма или сталинщины как авторитарной, диктаторской системы насилия и террора, бесправия и беззакония, над которыми, сказано в поэме Александра Твардовского «По праву памяти»,

И длится суд десятилетий,
И не видать ему конца.

Подобно поэме А. Твардовского, пьесе М. Шатрова, другим выдающимся явлениям советской литературы, среди которых есть уже и примечательные произведения, созданные в последние годы, свой правый суд над сталинистским прошлым вершил и повесть Анатолия Жигулина, Безотказная си-

ла ее воздействия в том, что она воистину выстрадана в неизмеримо суроных, тяжких испытаниях, которые не должны выпадать, но, увы, выпадали людям в многотрудной истории Советской страны.

Фальсифицированное следствие по сфабрикованному катеральными органами — тогдашним министерством государственной безопасности (МГБ) — «делу» об «антисоветской подпольной молодежной террористической организации»... Изощренные пытки бессонницей, палаческие избиения, садистский шантаж и прочие следственные «меры», проторенным путем которых служители Фемиды добивались нужных, вплоть до нелепых самооговоров, показаний... Мистерия суда, которого попросту не было, ибо обвиняемых судили по пародные судьи и заседатели, как хотя бы формально положено по «сталинской конституции», а некие анонимы — «особое совещание при министре государственной безопасности», заочно вынесшее противозаконный приговор... Четырехлетние скитания в Сибири и на Колыме, по тюремам и лагерям, шахтам и рудникам... Возвращение в Воронеж на «переследствие», сначала амнистия, затем частичная и наконец — лишь в 1956 году, после XX съезда КПСС — полная, «за отсутствием состава преступления», реабилитация...

«Это была победа! Это была полная победа!

Мы шли к ней более семи долгих, порою страшных лет.

А ведь и девиз наш дерзкий, юношеский и романтический был:

«Борьба и победа!»

Мы боролись!

Мы победили!»

Рассказывая о крутых перипетиях борьбы, тернистых дорогах к победе, которыми он и его друзья прошли в юности, на заре жизни, Анатолий Жигулин неукоснительно следует убеждению, провозглашенному в строках стихотворения «Правда»: они вынесены в эпиграф к нашему разговору о повести. Взглянем же с высоты их на общие правственные уроки прожитого и пережитого писателем, остановимся на ключевых выводах, которые предлагает он своим автобиографическим повествованием. Начать же неизбежно придется с уяснения сути «дела», по которому осенью 1949 года

группа воронежских студентов была обвинена в противоправной антигосударственной деятельности.

Совершали ли в действительности какие-либо преступления 17—18-летние, безусые, только что закончившие школу юнцы, чей арест, как потом выяснился, был специально отсрочен, чтобы дать им возможность поступить в вузы: солиднее обнаружить и разоблачить «врагов народа» среди юношей-студентов, нежели подростков-школьников. Ведь чем взрослеет, и значит, опаснее «преступники», тем щедрее награды бдительным карателям, выявившим очередное антисоветское подполье. «Со своей Программой, пятерочной структурой, тщательной конспирацией. Со своими изданиями и т. п. Здесь уже слышался звон орденов, здесь уже ясно виделось сиянье новых звездочек на погонах».

Что до программы, то она и вправду была. Как реально существовала и КПМ — созданная в 1948 году и просуществовавшая всего несколько месяцев организация воронежских сначала школьников, затем студентов, которую они нарекли Коммунистической партией молодежи. «Каковы же ближайшие цели и задачи КПМ?» — спрашивала эта программа. И отвечала: последовательная и непримиримая борьба «за мир и демократию во всем мире», за «построение коммунистического общества», необходимым условием которого объявлялись:

«1. Искоренение бюрократизма как основной общественной формы, тормозящей и препятствующей осуществлению основных задач партии.

2. Организованная и непримиримая борьба со взяточничеством, подхалимством и карьеризмом.

3. Борьба за повышение и улучшение культурной и экономической жизни трудящихся масс.

4. Борьба за правильное и равномерное распределение продуктов труда в нашем социалистическом государстве.

5. Борьба за фактическое исполнение тезиса «от каждого по его способностям — каждому по его труду».

Перечисленные пункты завершал вывод: «Осуществление данных задач — есть ближайшая цель нашей партии, залог быстрейшего построения коммунистического общества».

Что же, подчас простодушно, иногда панегирически удивляется нынешний читатель, здесь враждебного, преступного,

антисоветского? Мир и демократия, социализм и коммунизм — все это опорные слова из политической лексики послевоенного времени, изо дня в день повторяющейся, тиражируемой на полосах газет. Не иначе как Коммунистической называли свою «партию» члены КПМ и, как зафиксировано в их программах, памеревались осуществлять свою деятельность «вместе с ВКП(б)». Иными словами, они и тели сомнения не допускали, что ленинская партия большевиков выступает организующей, направляющей, руководящей силой советского общества. Может ли она поэтому не принять с признательной благодарностью бескорыстную помощь воспитанных ею молодых патриотов?..

Вчитаемся, однако, внимательней, глубже вдумаемся в изложенные пункты программы, попытаемся мысленно взглянуться в них не сегодняшним прозревшим взглядом, а тогдашними глазами, затуманенными расхожими догмами. Ведь это сейчас, на поворотных рубежах десятилетиями вызревавшей перестройки мы осуждаем опасную для социалистического общества бюрократизацию партийного и государственного аппарата так же открыто, как открыто предостерегал от иссе Ленин в последних работах, в совокупности своей составивших его политическое завещание партии и народу. Но требовать «искоренения бюрократизма» тогда, на гребне сталинщины, значило подрывать ее социальные устои. То же — «опрометчивый» призыв к беспощадной борьбе со взяточничеством, подхалимством и карьеризмом. Они извечные, неотступные спутники бюрократизма, узаконенного на высшем государственном уровне, благодатная почва для процветания чиповской элиты, на которую неизменно опирается, при безотказной поддержке которой функционирует административно-командная система сталинизма. А борьба за повышение уровня жизни? Некуда поднимать его, если он, согласно рекламному буму официозной пропаганды, и так несказанно высок, ибо обеспечен пеусыпными заботами «великого Сталина», ревностным радиением «отца народов» о благе подданных. «Провокационен» поэтому последующий памфlet па будто бы неправильное и неравномерное распределение продуктов труда. Этак, чего доброго, можно дойти и до публичного признания реальных деревень, до питки об обратных и голодных, вместо зажиточных, сказочно изобильных колхозов, раскинувших тучные нивы на кисельных берегах

модочных рек. Многолюдных, перенаселенных, скученных рабочих бараков вместо беломраморных дворцов в городах, зольно цветущих вокруг уже возведенных промышленных гигантов и новых грандиозных строек! И наконец, «от каждого по способностям — каждому по труду». Разве не записан этот основополагающий принцип социализма в Конституцию СССР, которую народ нарек сталинской? Призывать к его неукоснительному исполнению — не намекать ли, что он существует лишь на бумаге?..

Так программа КПМ, проникнутая искренними коммунистическими убеждениями ее авторов, не случайно избранных «Интернационал» своим гимном, оборачивалась краемльной критикой существующего режима сталинской диктатуры, звучала дерзким вызовом господствующей идеологии, психологии, морали сталинизма. Чтобы не видеть, не понимать этого, действительно надо быть человеком наивным, каким пытается предстать перед читателями воронежский корреспондент «Советской России». Включив — и то благо, что он так сделал, — процитированную программу в статью «Дело КПМ», он, вопреки объективному смыслу приведенного текста, целиком и полностью списал ее на ребячью шалости, в которых-де не было ничего серьезного. Не он прав, а Анатолий Жигулин, как один из авторов программы настаивающий на ее осознанной оппозиционности: «КПМ ставила своей задачей изучение и распространение в массах подлинного марксистско-ленинского учения. Программа КПМ имела антисталинскую направленность. Мы выступали против «обожествления» Сталина. (Слово «культ» в отношении Сталина стало употребляться значительно позднее)... Невероящих и сомневающихся я отсылаю к сохранившимся материалам следствия, ко многим оставшимся в живых бывшим членам КПМ, к бывшим нашим следователям».

Повторим и не забудем: авторам программы, руководителям и членам КПМ было по 17—18 лет. И вполне естественно, что их оппозиционность обретала зачастую выразительные черты мальчишества. Отсюда рискованные игры с оружием, которого, к слову, оставалось еще навалом на опустошенных полях отгремевших сражений Отечественной войны, романтические атрибуты засекреченности, конспирации, тайны с неизменным ритуалом клятв и эмблем, патетическим девизом «Борьба и победа!» и особым приветственным

жестом: «...остро и напряженно согнутая в локте правая рука прикладывалась к груди так, что обращенная вниз ладонь с плотно сжатыми пальцами находилась у сердца». Но не мальчишество — издание рукописных журналов: полиптического «Спартака» с профилем Ленина на обложке и литературного «Во весь голос», создание при последнем литературного кружка, который служил «первой проверочной ступенью к приему в КПМ. Людей неподходящих отсеивали». Не ребячество — критика «гениальных» трудов Сталина, в которых молодые пытливые умы «находили... вульгарные упрощения мыслей Ленина». Не шалость — популяризация, пропаганда скрытого ленинского «Письма к съезду». «Вы читали антисоветскую фальшивку», — глумливо заявит о нем полковник Литкенс, самое знание ленинского текста вменив Анатолию Жигулину в особое сбоятельство, которое отягощает и без того огромную «вину» подследственного. Как удостоверяет повесть, этот доподлинный персонаж, работавший заместителем начальника областного управления МГБ и слывший также уполномоченным, то есть доверенным лицом министра государственной безопасности, принимал личное, непосредственное «участие в следствии по нашему делу. Мало того, он осуществлял общее руководство разбором дела КПМ. Он как бы «лелеял» его. Как мастер-кондитер изготавливает торт — произведение искусства, так и Литкенс готовил наше дело как роскошный подарок самому высшему руководству страны — Л. П. Берии и самому И. В. Стalinу. Такой увесистый куш еще не попадал в руки МГБ в послевоенное время...».

Приняв аттестацию, дополним, однако, писателя. Карьерные амбиции честолюбивого, но беспринципного полковника в разбухшем «деле КПМ» наверняка сыграли роковую роль, но одновременно с ними сработал и безшибочный нюх мастера сыскных, заплечных и прочих подлых «дел» на недозволенную самостоятельность мысли, чреватую запретным инакомыслием. На каких же дрожжах взошло оно в разгор сталинского террора?

Размышляя об этом, Анатолий Жигулин мастерски живописует пережитые им и его семьей бедствия войны, когда «стихия смерти бушевала вокруг», тяготы послевоенного житья-бытья, которые stoически принял на свои и без того надорванные плечи парод-победитель, удушающую духов-

ную атмосферу времени, насквозь пропитанную показушно-бодяческой или, как называет ее писатель, «лицемерно-ложевой пропагандой». Не ей ли, вспомним и сопоставим, по чистоте душевной легковерно поддался однажды Михаил Прясллин в романе Федора Абрамова «Две зимы и три лета»? Так было с ним в предновогоднюю ночь, когда, сидя в пустом пекашинском доме перед догорающей печью, он с печалью и завистью разглядывал красочную обложку «Огонька», с нарядными людьми у нарядной елки. «А ведь есть, есть на земле люди, думал Михаил, которые сейчас с минуты на минуту ожидают прихода Нового года... И в их квартирах столы с белыми скатертями, вино, всякая жратва. И вот они сядут за эти столы и поднимут бокалы под звон кремлевских курантов...»

Сколько их, таких вот Михаилов Пряслиновых, разбросанных по всей России, по всему Союзу, паивно уверовали в такую же, как в романе Семена Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» или в фильме Ивана Пырьева «Кубанские казаки», счастливую, веселую, праздничную жизнь, что близко ли, далеко ли, по непременно где-то существует — только не в родной деревне, не в родном городе. А между тем множество других градов и весяй так же, как их Пекашин, еще не ели после войны досыта, а то и голодали по-прежнему, как в войну. То были, рассказывает Анатолий Жигулин, «страшные годы — 1946-й, 1947-й. Люди пухли от голода и умирали не только в селах и деревнях, но и в городах, разбитых войною, таких, как Воронеж. Они ходили толпами — опухшие матери с опухшими от голода малыми детьми. Просили милостыню... Но дать им было нечего: сами голодали. Умиравших довольно быстро увозили. И все внешнее было довольно прилично».

В первый послевоенный год, вспоминает писатель, трое его школьных друзей во главе с ближайшим из них, закадычным Борисом Батуевым, будущим лидером, вожаком, вдохновителем и предводителем КПМ, отправились лыжным походом в деревню. «На Бориса картина жизни крестьян-колхозников в этой деревне и в соседних деревнях произвела страшное впечатление. Он увидел лежащих на полу умирающих от голода, распухших людей, он увидел, как люди жуют прошлогоднюю траву, варят березовую кору». Нетрудно представить, каким потрясением стало увиденное для вс-

честливого, честного и совестливого юноши. Тем большим потрясением, что сам он вырос в обеспеченной семье партийного работника, второго секретаря Вороежского обкома ВКП(б), позднее репрессированного вслед за сыном, и жил пока что в привилегированных, «почти как при коммунизме», условиях, в то время как «его товарищи, и соседи, и соклассники, голодали. Жмых (махуха) был большим лакомством. Да, мы пережили тот страшный голод. И отвратительно было в это время читать газетные статьи о счастливой жизни советских людей — рабочих и колхозников. Тогда почему-то особенно часто печатали плакаты с изображением румяных девушек с золотыми хлебными караваями в руках. И часто показывали веселые фильмы о деревне и почему-то именно пиршества, колхозные столы, ломящиеся от яств. Вот отчего дрогнули наши сердца. Вот почему захотелось нам, чтобы все были сыты, одеты, чтобы не было лжи, чтобы радостные очерки в газетах совпадали с действительностью. Да, мы читали стихи и пели песни о «великом друге и вожде». Но мы слышали от взрослых о раскулачивании, о массовых репрессиях 1937-го и других годов... Так что не беспричинно, не из пустоты возникла идея создания КПМ».

Она была не единственной, важно подчеркнуть, нелегальной организацией молодежи, возникшей в послевоенные годы на подспудной волне духовного сопротивления сталинизму. «И в других городах было раскрыто несколько подобных организаций. Показательно сходны даже названия: «Кружок марксистской мысли», «Ленинский союз студентов» и т. п. КПМ отличалась от этих небольших (3–5 человек) групп сравнительно большой численностью и четкой организованностью». Но независимо от численности их роднили «самые искренние и благородные чувства, желание добиться счастья и справедливости для всех, помочь Родине и народу. Много было в нас, — признается Анатолий Жигули, — и юношеской романтики. Опасность, грозящую нам, мы хоть и чувствовали смутно, но не предполагали, сколь опа страшна и жестока. Вообще, по моему убеждению, только в ранней юности человек способен на такие беззаетные порывы. С годами люди становятся сдержанней, осторожнее, благоразумнее»...

Не они ли, осторожные и благоразумные («позорное bla-

горазумие», — воскликнул о таких Маяковский), укоряют сегодня писателя за избыточную поэтизацию «юношеского максимализма», находят неуправляемое безрассудство в том, в чем следовало бы видеть, повторяя пушкинскую строку, «дущи прекрасные порывы»?

Писатель Леонид Коробков пошел еще дальше. Поместив в воронежской газете «Молодой коммунар» статью «Россказни», он выступил в ней запоздалым, с расстояния в сорок лет, но яростным обвинителем КПМ. «Никто из бывших капээмовцев, — обличает он Анатолия Жигулина и его друзей, — не отбелится никогда! Ни перед Родиной — ей они не хотели зла. Ни перед товарищами — в том нет нужды, ибо бериевский каток прошелся по всем одинаково... Вот за те годы, что они вычеркнули из жизни своих отцов-матерей, никогда они не отбелятся». Значит, резонно продолжает в ответ на это «Комсомольская правда», «не следователи, сfabrikovавшие дело, а сами капээмовцы виноваты за вычеркнутые лагерем годы. Теперь — не отбелиться им, потому что тогда не стоило лезть»? Прокурорская логика приводит Л. Коробкова к выводу настолько абсурдному и кощунственному, что, хоть он изложен печатно, черным по белому, принять его попросту дико. Оттого, наверное, и преобладают в ответной статье «Комсомольской правды» не оценочные утверждения, характеризующие оппонента, а удивленные, недоуменные, даже растерянные вопросы к нему: «То есть правильно членов КПМ сажали? Провели профилактику правонарушений среди подростков — не более того? «Оборонили» друг от друга тем, что на Колыму да в Казахстан отправили?» Похоже, так и полагает писатель Л. Коробков, рассуждая точь-в-точь как бывший следователь по «делу КПМ», нынешний пенсионер В. Белков: «Правильно их посадили... Чего им надо-то было? По пятеркам разбились, журналы свои, конспирация. Договорились до того, что всюду бюрократы есть. С чего они несогласны были? Зачем эта организация нужна? Опасные все это игры».

Много ли, рассуждают далее противники повести, доморощенные виртуозы социальной демагогии и нравственного релятивизма, добились жигулинские капээмовцы? Непомерно горячие головы, погубившие себя молодые бунтари подставились под обвинение в немыслимых, фантастических злодеяниях — создании террористической организации, подго-

товке вооруженного восстания, намерении свергнуть Советское правительство и «захватить в стране власть». Так в ходе следствия лживо переиначилась их благородная, но прекраснодушная, преждевременная мечта «о мирном, постепенном приходе к власти в стране здоровых ленинских сил», способных «изменить духовно-нравственную атмосферу нашей действительности». Рано ли, поздно ли (но «лучше раньше, чем позже» — недаром говорит пословица) наступила пора проводить это в жизнь в ходе нынешней перестройки. Так стоило ли спешить, жертвуя собой, торопить историю собственным нетерпением?

Какими бы умонастроениями ни вызывались подобные сентенции, «вопрос есть вопрос. И должен быть ответ». Отстаивая честь и достоинство КПМ, Анатолий Жигулин отвечает с не менее ярым напором, чем, если искать исторические и литературные аналогии, Александр Герцен в «Былом и думах» защищал свою молодость и круг друзей от досужих обывательских пересудов, какие вели между собой «тупые педанты и тяжелые школьяры. Они видели мясо и бутылки, но другого ничего не видали. Пир идет к полноте жизни, люди воздержанные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахи, мы жили во все стороны и, сидя за столом, побольше развились и сделали не меньше, чем постные труженики, кошающиеся на заднем дворе науки. Ни вас, друзья мои, ни того ясного, славного времени я не дам в обиду; я об нем вспоминаю более, чем с любовью, — чуть ли не с завистью. Мы не были похожи на изнуренных монахов Зурбрана, мы не плакали о грехах мира сего — мы только сочувствовали его страданиям и с улыбкой были готовы кой на что, не наводя тоски предвкушением своей будущей жертвы. Вечно угрюмые постники мне всегда подозрительны; если они не притворяются, у них или ум, или желудок расстроен».

Послевоенной юности Анатолия Жигулина было, разумеется, не до застольных ширазств. Но ее «вольный дух гражданства» искал себе выхода по-своему напряженно. В неимоверно трудных условиях, под неослабной, все возрастающей угрозой арестов, члены КПМ сумели сплотиться, по словам автора-летописца, в «марксистско-ленинскую антисталинскую организацию, состоящую из людей, свободно мыслящих, готовых нести в народ ленинские идеи, критику

сталинизма. Разве этого мало? Постоянно (и после возникновения угрозы арестов) велась работа по подбору новых членов КПМ. Пятьдесят (да, пятьдесят!) человек прониклись сознанием того, что обожествление Сталина противоречит духу ленинизма. Разве этого мало?..»

Но и тут не смолкает скрипучий голос филистера, раздосадованного тем, что откровенный рассказ о «духовной сущности» КПМ, неистребимо продолжающей жить «в смысле чистой человеческой дружбы людей, объединенных одной судьбой», омрачает его комфортное самоуспокоение, бередит замешелую совесть. Не дружба юных, благородных борцов за правду и справедливость, уличает он писателя, а круговая порука экстремистов, которых свела не высокая гражданская идея, а страх перед расплатой, угрожавшей каждому за отступничество. Не сам ли Анатолий Жигулин приводит текст клятвы, за малейшее («хоть в малой степени!») нарушения которой надлежало безропотно принять смертную кару от «суровой руки» ближайших товарищей? Не он ли признает суровость таких «мер наказания», хотя объясняет ее тем, что члены КПМ «были детьми своего времени. И даже в чистоте помыслов своих невольно впитывали жестокость сталинской эпохи»? Такой ли жестокой ценой следовало «до последнего вздоха пести знамя ленинизма через всю свою жизнь к победе», как громко возвестила о том программа КПМ?..

Обратимся к тексту, сюжетным ситуациям повести, чтобы наглядней убедиться, как они и от этой казуистики не оставляют камня на камне. Действительно, словно предвидя, что недолг час, как па ее пути встанут платные провокаторы и предатели-доброхоты, КПМ обещала нещадно карать их смертью. Но едва доходило до дела, ни один вынесенный приговор не приводился в исполнение. Иначе «нечаявшина получается» — первым отступает Борис Батуев, зывая к нравственности и морали русских революционеров, с презрением не принимавших иезуитскую вседозволенность недостойных средств, якобы оправданных, по Нечаеву, благой целью.

Как духовная традиция русской истории, эта незамутненная нравственность, незапятнанная мораль в автобиографической повести Анатолия Жигулина испытываются на прочность по символическим огнем или мечом. И огонь угас-

саёт на промозглом ветру, и мечи ломаются в лютую стужу. Но ис затухает внутренний жар в герое-повествователе, и душа его не сгибается под непосильным, казалось бы, грузом прожитого и пережитого, многократно помноженным на десятки кубометров спиленного леса или пудов добытой руды — ежесуточные нормы выработки в тайге и на рудниках, которые приходилось одолевать предельным, пет, скорее за предельным напряжением, дабы получить положенные пайку хлеба и черпак баланды. «Кроме унизительного голода, кроме всяких зверств и жестокостей, вспоминалось... самое страшное, что вообще было в жизни. Это охота на людей». В чем она состояла и как велась, мы узнаем в главе, которая так и называется: «Охота на людей». В ней рассказано, как «неограниченная власть над людьми», лишенными каких бы то ни было прав, включая неотъемлемое право на защиту закопом, не просто допускалась в сталинских тюрьмах и лагерях, но сознательно стимулировалась всей системой узаконенного беззакония. Недаром так откровенно и цинично похвалляется всевластный майор, начальник колымского лагеря «Черные камни», садистски не позволяя врачам-арестантам исполнить профессиональную обязанность — оказать медицинскую помощь рабочему избитому герою-повествователю: «Здесь, гражданин-доктор, закона нет, здесь закон — тайга, а прокурор — медведь»...

По праву осознавая и называя себя последним поэтом сталинской Колымы, Анатолий Жигулин считает своим писательским долгом честно, правдиво рассказать обо всем том, чего «никто уже не расскажет». Если я не напишу — никто уже не напишет». В этом смысле «Черные камни» — не только скорбный плач по сгинувшим на необъятных пространствах «архипелага ГУЛАГа», по и вечный им памятник, куда более прочный и надежный, чем те «дощечки померные и просто камни без примет», о которых рассказано в стихотворении «Кладбище в Заполярье», полностью включенным в главу «Кладбище в Бутыгчаге».

С публикацией «Черных камней» как бы запово читаются и давние стихотворные строки Анатолия Жигулина. Например, из стихотворения 1961 года «Хлеб»:

Я все забыл...
Ожоги ветра.

Друзей угрюмых имена.
А норма — двадцать кубометров, —
Доныне помнится она...
В барак входили в клубах пара,
Ногами топая в сенях,
И сразу падали на нары,
Тяжелых валенок не сняв.
А хлеб несли из хлеборезки.
Был очень точно взвешен он.
И каждый маленький довесок
Был щепкой к пайке прикреплен.
О, горечь той обиды черной,
Когда порой по вечерам
Не сделавшим дневную норму
Давали хлеба двести грамм!

Запечатлев драму народной истории, стихи Анатолия Жигулина самим фактом своего существования ознаменовали и неистребимую жизнестойкость человека, который даже в бесправии своем находит силы для того, чтобы не просто выжить физически, но выстоять духовно. Эта не учтенная сталинскими карателями сила духа переплавлялась в жажду творчества, а она в свою очередь помогла будущему писателю сберечь в себе чувство красоты и прекрасного, доверие к людям, веру в жизнь.

Как наверняка отметил читатель, в повести «Черные камни» часто упоминается Владимир Федосеевич Раевский, чьим пра правнуком не без гордости называет себя Анатолий Жигулин. Что же, такой родословной и впрямь стоит гордиться: имя пра прадеда принадлежит плеяде славных имен российской истории и русской культуры. Героическое участие в Отечественной войне 1812 года и в ее ключевом сражении на Бородинском поле в качестве артиллериста-прапорщика, награжденного после битвы «За храбрость» золотой шпагой... Активная революционная деятельность, начало которой положили создание собственного кружка офицеров-вольнодумцев, и вступление в тайное общество «Союз благоденствия» — одну из ранних организаций будущих декабристов... Арестованный «за антиправительственную пропаганду» в 1822 году, заключенный сначала в Тираспольскую, затем в Петропавловскую крепость, Владимир Раев-

ский не выходил на Сенатскую площадь в день восстания декабристов, но оставался с ними идейно, духовно, правственно и был судим, а затем сослан в Сибирь как декабрист... Таковы этапы гражданской биографии Раевского-революционера. Рубежами же литературной биографии Раевского-писателя — поэта и публициста — стали такие его произведения, как созданная в канун Бородина «Песнь воинов перед сраженьем», тюремные стихи «Друзьям в Кишиневе» и «Певец в темнице», сибирские — «Дума» и «Послание», философические и социологические работы «Рассуждение о солдате» и «Рассуждение о рабстве крестьян» — знаменательные явления нелегальной, подпольной русской литературы, образец мемуарного жанра — «Воспоминания»...

В глубинном историческом контексте працадед, революционер и поэт, и праправнуцк, наш современник, — звенья одной протянувшейся через полтора столетия цепи вольнomyслия и свободолюбия. И еще — обостренной гражданской совести, настоятельным велением которой и рождена, в частности, книга «Черные камни».

ОТ АВТОРА: ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Характеризуя в речи на Восьмом съезде писателей СССР то уныльное состояние, на которое обрекли литературу кризисные годы застоя, Даниил Гранин вообразил нелепую с точки зрения здравой логики, но вполне благопристойную, реалистическую для охранительной психологии ситуацию: «Представьте себе, товарищи, что вас послали в разведку. Выполнив задание, вы возвращаетесь и доложиваете, что насчитали сто танков противника. «Э-э, пет, — вам говорят. — Это слишком много! Доложите, что не больше 20. Так приятнее». Примерно в таком положении находилась наша литература еще недавно».

Подумать только — так говорилось всего три года назад: летом 1986-го. Хронологически — рукой подать. Но доведись сегодня писателю заново произносить речь — наверняка искал бы ей другое начало. Прежнее отошло в область пусть не далекого, но забытого, но все-таки прошлого.

Об этом каждое по-своему свидетельствуют произведения, которым посвящена настоящая брошюра. Сказать больше: и задумывалась, и писалась она из желания тверже,

основательней укрепиться в надежде на то, что пора безвременя в нашей литературе если еще не совсем прошла, то, сдается, проходит. Ярких подтверждений тому, на счастье, больше, чем возможно было вместить в брошюру, жесткие рамки которой, к досаде автора, выпустили отложить «на потом» анализ ряда произведений. Таких, например, как романы Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», Владимира Дудинцева «Белые одежды», Бориса Моожаева «Мужики и бабы», Валентина Белова «Кануны», повесть Василя Быкова «В тумане», несколько других романов и повестей, не столь, может быть, «громких», на виду, но тоже достойных.

Как и рассмотренные в брошюре, они выражают и закрепляют коренные особенности текущей прозы, складывают ее выразительный портрет. И если одна из сущностных черт портрета — углубившееся чувство, обострившаяся память драм и трагедий народной истории, то это значит, что историческое самосознание личности и общества выходит ныне на те рубежи, где выступает пепременным условием и важнейшим фактором становления, развития и выявления нового мышления как в современном общественном сознании вообще, так и в эстетическом, художественном в частности...

Научно-популярное издание

Валентин Дмитриевич ОСКОЦКИЙ

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ
(Четыре очерка)

Гл. отраслевой редактор В. П. Демьянин. Редактор Н. М. Краснопольская. Мл. редактор О. А. Васильева. Худож. редактор М. А. Гусева. Техн. редактор А. М. Красавина. Корректор О. А. Лагуненко.

ИБ № 10220

Сдано в набор 21.04.89. Подписано к печати 30.05.89. Формат бумаги 70×108^{1/32}. Бумага тип. № 72.. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 2,80. Усл. кр.-отт. 2,89. Уч.-изд. л. 3,51. Тираж 54 545 экз. Заказ 770. Цена 15 коп. Издательство «Знание». 101835, ГСП, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 897007.
Типография Всесоюзного общества «Знание», Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4.